

Владимир Фёдорович Одоевский

Княжна Зизи



Владимир Фёдорович Одоевский

Княжна Зизи

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=645675
Владимир Фёдорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

"Княжна окаменела при таком известии. Это было слишком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи..."

Содержание

Комментарии

Владимир Федорович Одоевский Княжна Зизи

Посв. Е. А. Сухозанет

Иногда в домашнем кругу нужно больше героизма, нежели на самом блистательном поприще жизни. Домашний круг – для женщины поле чести и святых подвигов. Зачем немногие это понимают?..

Слова женщины.

– Откуда ты?

– С биржи.

– Ну, что?

– Каждый день выше!

– Тем лучше.

– Как тем лучше? Я от этого теряю двадцать тысяч пятьсот рублей.

– Теряешь?

– О, да что с тобой толковать? ты не поймешь меня...

– Однако ж...

– Видишь ли ты: у меня теперь свободных денег сто двадцать тысяч пятьсот рублей: на сто тысяч я покупаю землю в моей тульской деревне, на двадцать тысяч пятьсот я хотел

купить акций новой страховой компании, но они теперь поднялись в такую цену, которой не стоят, и мои двадцать тысяч пятьсот рублей я должен держать у себя почти без всякой пользы.

– Это ты называешь потерять двадцать тысяч?..

– О, я уже сказал, что ты ничего не понимаешь!

С этими словами мой приятель, принадлежавший к новой породе фешенеблей-индустриалистов, бросился в кресла, погрузился в задумчивость и с досадою крутил усы свои.

– У тебя сегодня сплин? – спросил я его.

– Да, сплин, и ужасный... Чему ж ты смеешься?

– Я не смеюсь, а наблюдаю, каким образом байронизм соединяется с биржею. Если и на наше поколение повеял этот мрачно-промышленный дух, что же будет с новым?..

– Новое будет умнее нас: оно не потеряет столько времени и особенно столько денег на мечты, на звонкие слова и на филантропические бредни; оно будет заниматься солидным, положительным...

– Скажи мне, ведь ты, кажется, в старину писал элегии?..

– Как же! И про них толковали в журналах, что они обличают во мне решительное направление к элегическому роду...

– В самом деле, ты и теперь смотришь элегическим поэтом... И ты, разумеется, бывал и влюблен?..

– Я и теперь от этого не отказываюсь.

– Я это знаю, и это доказывает твоя коллекция писем в

нескольких томах. Только берегись, я когда-нибудь ее украду, хоть для того только, чтобы посмотреть, чем ты мог нравиться женщинам и как уживаются все эти разноязычные соперницы, сдавленные одним и тем же переплетом? Нет, без шуток – давно мне хотелось спросить тебя: бывал ли ты влюблен в самом деле, влюблен хоть один раз в жизни, но так, как понимают те люди, которые занимаются сочинением романов, сказок и прочего тому подобного?

Мой промышленник встал.

– Некогда мне теперь об этом толковать, – сказал он, – прощай; мне надобно наведаться у одного человека, который обещал мне достать акций подешевле.

– погоди! Кого ты теперь застанешь? Уж пять часов; обедай у меня – и отведаем вместе новое вино, которое мне предлагают купить. Ты между тем мне расскажешь...

– А! понимаю, зачем тебе хочется остановить меня: у тебя требуют повести – *et le baron s'embarrasse*¹; в портфеле и голове пусто; ты думаешь, не наткнешься ли на какую-нибудь мысль в моем болтанье.

– Может быть; тебе что за дело? Это моя биржевая спекуляция.

– Хорошо, я тебя потешу, буду сентиментальничать; но только вели давать обедать скорее. Повторяю тебе, мне некогда.

После нескольких рюмок вина мой приятель в самом де-

¹ И барон смущается (*франц.*).

ле сделался гораздо нежнее. Вино – великое дело; это единственная поэтическая сторона нашего века. Если оно вредно в физическом отношении, как утверждают гомеопаты, то необходимо в нравственном. Оно сдергивает с человека хоть на несколько минут его промышленную, расчетливую оболочку, естественное состояние выводит наружу и часто помогает нам открывать под холодным, насмешливым человеком – другого, у которого есть и душа и сердце или нечто похожее на то и другое. Отнимите у нас вино – мы будем хуже китайцев и американцев.

– Да, я был влюблен, – сказал наконец мой рассказчик, – то есть влюблен по-вашему, так влюблен, что и до сих пор не могу отвыкнуть от негодной привычки вздыхать, вспоминая о моей красавице... Красавице!.. Но постой, не хочу тебе сказывать конца прежде начала. Я сам, признаюсь, люблю начинать роман с четвертого тома, но по опыту знаю, что это не приносит ни пользы, ни удовольствия; к тому же надобно для тебя и исторические свидетельства: пошли своего человека принести от меня зеленый портфель, который лежит возле бритвенного столика.

В 18... я возвратился в Москву из чужих краев. Десять лет я не видал моей родины, и потому для меня все было ново – и улицы, и дома, и люди. В гостиной моего опекуна собирались каждый вечер гости; занятия были обыкновенные: пили чай, играли в вист и рассказывали городские новости; многие из этих рассказов возбуждали во всех живейшее уча-

стие, но для меня, разумеется, долго были тарабарскую грамотою: я не понимал ни условных названий, ни семейных намеков, ни занимательности имен, которые доходили до моего слуха, – словом, ничего, чем живет домашний разговор. Ты знаешь, я не принадлежу к тем людям, которые из чужих краев привозят полное равнодушие ко всему отечественному и которым так же непонятна своя родина, как непонятны им были и чужие края; я не хотел быть совершенно чуждым в моем семействе, старался прислушиваться к ежедневным рассказам и почти заучивал имена. Одно из них, не знаю отчего, более привлекло мое внимание; это имя было княжна Зизи. Оно напомнило мне неподражаемого Грибоедова, заставило подумать, как бесполезны ваши, господа сочинители, насмешки над странным обычаем коверкать имена; или в этом имени было что-то особенное, но я невольно придвигал к кружку мои кресла, когда произносили это имя. Вот тебе разговор о ней:

– Княжна Зизи выходит замуж, – сказала одна из моих кузин.

– За кого?

– За какого-то деревенского помещика.

– Очень бы хорошо сделала, – заметила тетушка.

– А жаль! преумная девушка, – заметил кто-то.

– Большая чудиха, – заметила одна дама.

– Настоящая христианка.

– Большая ханжа, притворщица.

– Премилая...

– Прегордая...

– Она все ждет, что на ней женится какой-нибудь крон-принц, – проговорила пожилая дама, невольно взглянув на своего сына, пожилого архивного юношу, приготавливавшегося в дипломаты.

– И, помилуйте! – отвечала другая с видимым злобным умыслом, – кто на ней и захочет жениться? разве какой-нибудь сумасшедший: у нее ничего нет...

– Извините, она очень богата.

– Все, батюшка, буки – и пропасть долгов.

– Я вас могу уверить, – сказал с значительным видом чиновник, занимавшийся дядюшкиными делами, синему партнеру, – что княжна никогда не выйдет замуж.

– Почему же?

– На это есть важные причины, – отвечал чиновник, понизив голос.

– Скажите мне, сделайте милость, – наконец обратился я к тетушке, – что это за княжна Зизи?

– Она в родне с Городковыми. Ты, я думаю, его помнишь: один Городков хаживал к твоему отцу.

– Помню, – высокого роста, худощавый и с большими поклонами.

– Княжна в самом деле имеет большие странности в характере: например, не успела умереть ее мать, как она, не ожидая года, бросилась ездить повсюду – по театрам, по ба-

лам, то жила с сестрою душа в душу, то вдруг рассорилась с нею и хотела ее оставить; потом опять осталась у ней в доме, согласилась было выйти замуж за одного очень порядочного человека, потом вдруг ни с того ни с сего ему отказала; потом завела пренегодный процесс с своим зятем; то хотела идти в монастырь, то вдруг опять явилась в свете, – вообще в ней очень много странного. Прошлою зимою она приезжала сюда и никому визитов не сделала – даже у меня не была... В ней, говорю тебе, много странностей. Она большая кокетка – однако ж имела хорошие партии и ни за кого не вышла замуж... В ней много, много странного...

Слова тетушки не удовлетворяли моему любопытству; из них узнал я только то, что тетушка сердита на княжну Зизи, потому что княжна не была у ней с визитом. Я старался составить себе какое-нибудь понятие об этой девушке, которая успела возбудить о себе столько разноречащих мнений. То она мне представлялась просто московскою зрелою девою, вскормленную романами мадам Жанлис и со всеми причудами монастырки, то находил я, что, может быть, ее называли странною по той причине, по которой всякого человека, непохожего на других, называют чудачком. В этих размышлениях я присел к столику, где Марья Ивановна, небогатая вдова, жившая у тетушки, как говорят, «для компании», по обыкновению разливала чай. Она, как все «дамы для компании», была большая болтунья, мастерица варить варенье и страстная охотница до романов.

– Вы спрашивали тетушку о княжне Зизи, – сказала мне Марья Ивановна тихим голосом, – я не смела вмешаться в разговор, потому что все бы поднялись на меня; но никто лучше меня ее не знает. Я езжала в дом к старой княгине учиться танцевать; там мы познакомились с княжной Зинаидой, и до сих пор мы с ней в дружбе и в переписке. Придите завтра к нам перед обедом, и я вам расскажу подробно пространную жизнь этой несчастной девушки: ее совсем без вины опорочили в свете.

С этими словами мой рассказчик вынул из зеленого портфеля связку писем, вздохнул, покачал головою:

– Я храню эти письма как нечто святое, – сказал он, подавая мне одно из них.

– Номер первый, – продолжал мой приятель. Это было письмо княжны Зизи к Марье Ивановне. Взглянув на него, я с удивлением увидел, что оно было написано по-русски довольно правильно, – а уже одно это, особенно в то время, было очень замечательно. Вот это письмо:

«Москва, 4 февр. 18...»

Ты забыла меня, Маша, совсем забыла. Вот уж прошло два месяца после последнего твоего письма. Неужли ты в своей Казани нашла другую приятельницу, которая заставила тебя позабыть твою бедную Зизи? Напиши мне, что ты делаешь? Довольна ли ты своим местом? танцуешь ли ты? Дядюшка прислал нам из Парижа прекрасные эшарпы – голубой с белыми полосками для Лидии, и пунцовый для меня; по нам

нет и случая надеть их. К тому же маменька хочет, чтоб я носила голубой эшарп, а Лидия пунцовый. Когда я сказала, что черноволосым голубой цвет не к лицу, маменька, по обыкновению, рассердилась. Мы живем по-прежнему: маменька все больна, все скучает, всем недовольна, никуда сама не выезжает, и к нам никто не ездит. Мы Бог знает как рады, когда приедет к нам старая Ракитина, да хоть расскажет то, что она видела у обедни в своей приходской церкви; больше к нам никто не ездит. Поэтому ты видишь, что мы живем очень скучно. Поутру, пока маменька молится, мы сидим с Лидией на мезонине: она зевает за канвою, я за книгою, ибо я по-прежнему продолжаю красть книги из папенькиной библиотеки: это одна моя отрада. Хоть маменька и не дает нам ключа, говоря, что в этой библиотеке все мужские книги, но я прочла всего Карамзина, всю историю о странствиях аббата Лапорта^[1], весь „Вестник Европы“. Мне наконец удалось достать „Клариссу“ из шкафа, помнишь, у которого была такая крепкая проволока, – хоть я оцарапала себе руку, зато наплакалась вдоволь; только последнего тома никак не могу достать: он упал за большой лексикон, и рука никак не доходит, – такая досада. Ракитина дала нам несколько разрозненных русских номеров журналов, – где недостает конца, где начала; что за охота этим господам писать: продолжение впрямь; терпеть не могу этого слова! Но зато я нашла там прекрасные стихи Жуковского и нового стихотворца Пушкина. Постарайся достать его стихов.

Ах, никто так хорошо не пишет, как Жуковский и Пушкин! Так все у них идет к сердцу и невольно остается в памяти. Я все их стихи вписала в мою знакомую тебе тетрадку: теперь она очень потолстела. К обеду мы сходим вниз, до ночи мы сидим с маменькой и молчим. Что ни заговорим, она сердится, беспрестанно жалуется и на погоду, и на здоровье, и на людей. Мы уж с сестрою решились было молчать и считать трубы у окошка; но маменька опять сердится – говорит, что мы ее оставляем, чуждаемся, что мы неблагодарные, что, разумеется, со старухою скучно, – и знаешь все, что она обыкновенно прибирает. Бог видит мое сердце; об одном и прошу его, чтоб как-нибудь развеселить маменьку; но как это сделать – он же один и знает! Летом было еще сноснее: бывало, хоть мы езжали в Симонов монастырь, а теперь – хоть плакать. О выезде и не говори. Попросишь маменьку в карете выехать прогуляться – она вздохнет, охнет, да тем и кончится. Прощай, милая Маша. Пиши, Бога ради, ко мне: по крайнем мере будет хоть о чем слово сказать. Твоя верная Зизи.

Р. S. Совсем было забыла тебе написать, да Лидия напомнила: вчера за обедней маменька устала, лакей был далеко; это заметил один молодой человек, тотчас бросился, отыскал стул, усадил маменьку; она его благодарила. Это какой-то господин Городков; мы его уже несколько раз видели в нашем приходе; кажется, сосед наш; он очень понравился маменьке, и она, ты не поверишь, кажется, даже звала его к себе. Да,

дождись, поедет он в нашу пустыню!..»

– Нумер второй, – сказал мой приятель, подавая мне дру-
гое письмо.

«Москва. Февраля 15-го.

Благодарю тебя, Маша, за твое письмо, оно много меня порадовало. Если бы ты знала, – уж мы хохотали, хохотали, читая, как казанские кавалеры хлопают каблуками во французской кадрили; даже маменька улыбнулась. Вообще она теперь веселее. У нас был Владимир Лукьянович Городков – премилый человек. Как он умел занять маменьку! Она к нему с своими тяжбами, а он тотчас вошел в дело, успокоил маменьку и взял у нее целый пук бумаг, обещал хлопотать в судах... Добрый человек! Сам Бог его послал. Может быть, маменька будет повеселее – дай-то Бог! На радости маменька поехала с нами в город². Ах, как там весело! Пропать народа, экипажей, шум... А какие прелести в магазинах! Я видела совсем новую материю: ее называют satin turque³; ее делают двуличною – прелесть! Маменька купила для Лидии серенькую с оранжевым отливом: это теперь в большой моде; посылаю тебе образчик. Мне маменька купила также клетчатую тафтичку; посоветуй, каким фасоном сделать; я хочу, чтобы лиф был разрезной, с эполетами на плечах, кушачок с мыском, а кругом обшить выпущенной фалбалой. Не правда ли, это будет

² Так называется гостинный двор в Москве. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

³ Турецкий атлас (франц.).

прекрасно?...»

– Во всем этом письме, – сказал я моему приятелю, – дело идет о тряпках; что тут интересного? Да и, признаюсь тебе, до сих пор не вижу никаких необычайностей, о которых ты столько толковал: вижу, что мать старая дура, в хандре, которая мучит без толка своих дочерей, а дочерям до смерти хочется наряжаться и выйти замуж: это мы каждый день видим...

– Нумер третий, – хладнокровно проговорил мой приятель.

«Москва, Апреля 3-го.

Ты не знаешь, что делается с нами, Маша. Представь себе, что я в самом деле в тюрьме, – да, в тюрьме: я не схожу с мезонина. Но постой, надобно все рассказать по порядку. Все это время Городков не переставал навещать нас; маменька от него без ума. Он устроил маменькины дела, успел уверить ее, что они совсем не так худы, как она думает, хотя и требуют внимания... Право, этот человек лучше родного. Мы так привыкли к нему, что когда он у нас день не побывает, то мы уже думаем, не болен ли он, – и маменька посылает наведываться о его здоровье. Словом... Но слушай; с некоторого времени, как скоро придет Владимир Лукьянович, маменька начнет говорить, что ей кажется, будто я не по себе, или сыщет какое-нибудь дело, какой-нибудь предлог, чтоб отправить меня на мезонин. Я долго не понимала, но теперь догадалась: маменька

воображает, что Владимир Лукьянович делает нам глазки, и ей хочется, чтоб Лидия, как старшая, прежде меня вышла замуж; теперь она уже просто запретила мне сходить с мезонина, а Владимира Лукьяновича уверяет, что я все нездорова. Но, я думаю, все это пустое. Правда, он очень любезен с нами, но с нами обеими. Лидии он приносит узоры для канвы, мне – книги; с каждою говорит не больше, как с другою, и, верно, он и не помышляет о планах маменьки. Чем-то все это кончится! А между тем мне очень скучно сидеть на мезонине, особливо когда внизу Владимир Лукьянович: он такой веселый, такой смешливый, – всегда умеет занять; он, кажется, и литератор, но этого еще я не могла узнать хорошенько, хотя мне и очень хотелось поговорить с ним о литературе, о Жуковском, о Пушкине, но боюсь, чтоб он не счел меня педанткою, – да теперь нет и надежды. Я с досады ничего не могу читать: только и дела, что вешаюсь на лестнице да прислушиваюсь, что говорят внизу. И смех и горе! Хоть бы как-нибудь да поскорее все это кончилось. Мне бы очень хотелось, чтоб он женился на Лидии: тогда мы, верно, будем жить веселее; я буду с нею выезжать и на танцы и на гулянье, потому что она уж будет мама. Непременно попрошу ее, чтобы она меня свозила в книжную лавку: я еще никогда не бывала в книжной лавке. Владимир Лукьянович, верно, знаком с сочинителями, и я увижу какого-нибудь сочинителя, может быть Жуковского – какой это должен быть человек!.. А между тем я все сижу на мезонине!

прощай, милая Маша. Пиши к твоей бедной затворнице *Зизи*».

– Нумер четвертый.

«Маша, участь моя решилась: я... влюблена, Маша, я влюблена до безумия! Я хотела скрыть это и от тебя и от себя самой, но я не могу далее сохранить в душе моей этой тайны... Я полюбила его с первой минуты нашего свидания, я не могу жить без него... Если бы ты видела его – ты бы поняла меня. Он соединение всех совершенств: прекрасен собою, глаза его – огонь, а его сердце, его доброе, прекрасное сердце, его кроткий, тихий разговор, его милое обращение... Я без ума, Маша; я стыжусь себя са– мой, я готова бежать за ним на край света, – и я не могу его видеть. Целый день я как пришта к окошку на моем проклятом мезонине, чтоб услышать стук его дрожек: я их узнаю между тысячи; услышу – и кровь у меня стынет в жилах, сердце бьется, я вся дрожу, я вся в огне, в глазах темно, и голова кругом – нет сил больше. Когда он уедет, я сбегая вниз, ищу стула, на котором он сидел, стола, к которому он подходил, двери, в которую он вышел; я готова расцеловать их, – а тут мученье; Лидия, холодная Лидия, рассказывает, что он говорил, шутит, смеется над ним, а я... я ревную, я готова растерзать Лидию... Ах, что делает со мною маменька? Зачем сначала позволила она мне видеть его? Зачем теперь запрещает?.. Он равнодушен ко мне: он всякий раз спрашивает обо мне, спрашивает, что сказал доктор.

Его безжалостно обманывают... Что, если моя мнимая болезнь огорчает его?.. А я должна молчать, скрывать все, что у меня на сердце, и перед сестрою и перед маменькою!.. Иногда, я готова все рассказать ей; но когда посмотрю на ее суровый вид – язык прилипнет; а она еще сердится или говорит, что и слышать не хочет о моей хандре... Но по крайней мере до сих пор ей ничего не удастся; он до сих пор еще не объяснился: я жду этого, как приговора к смерти... Ах, хоть ты пожалей о твоей

Зизи!»

– Нумер пятый.

«Плачь, Маша, и молись за меня! Мне нужна твоя молитва: сама я молиться не могу – ты понимаешь, что все кончено... Он объяснился, он помолвлен... с Лидиею. Это было вчера: я в это время лежала без памяти в постели, и маменька в самом деле послала за доктором. Что может доктор? Все для меня кончилось! Мир мой – гроб, надежда – смерть. Ах, Лидия, счастливая Лидия!.. И что нашел он в ней? Она как ни в чем не бывало! Ей ли сделать его счастливым? Она холодна как лед; ей выйти замуж – как выпить стакан воды; она по-прежнему так же долго спит, так же шьет по канве, так же кушает за обедом и удивляется, отчего я брожу целую ночь как шальная, отчего мне кусок в горло нейдет, отчего я все книги раскидала по полу. Я часто не хочу верить, что все это не тяжелый сон. Часто мне кажется – вот пройдет, вот исчезнет;

я силюсь проснуться – тщетная мечта! Лидия приходит ко мне показать свое подвенечное платье; она просит меня, чтоб я помогла ей наложить оборку; она смеется, хохочет; она не понимает своего счастья... Ей ли быть женою этого ангела?.. Неблагодарный, неверный, коварный, он не знает, чего он во мне лишился. Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка... Но я не могу писать долее: слезы падают на бумагу, пальцы дрожат, вся комната кругом меня вертится. Молись, молись обо мне, Маша!..»

Письма княжны Зинаиды, говорила мне Марья Ивановна, занимали и пугали ее. Она знала пламенное воображение княжны, знала, что, привыкшая к суровому обращению своей матери, к ее совершенному отсутствию всякой любезности, Зинаида должна была видеть в каждом ласковом слове несомненный признак высокого сердца; знала, что, живя век в четырех стенах, она должна была влюбиться в первого мужчину, который ей на глаза попадетя: но, может быть, этот человек был недостоин ее доверенности, может быть, он хотел воспользоваться ее неопытностью... Все это представлялось Марье Ивановне в виде ужасном. «Обстоятельства заставили меня, – говорила она, – с ранних лет больше вникать в людей, строже ценить их; словом, я была старше Зизи не только летами, но и жизнью».

Но что оставалось ей делать? Писать, утешать свою прия-

тельницу – дело невозможное. Те, у которых Марья Ивановна жила в доме, собирались ехать в Москву; она упросила их взять ее с собой.

Приехав сюда, она узнала разом две новости: свадьбу княжны Лидии и смерть ее матери. Марья Ивановна нашла княжну Зинаиду в доме ее сестры. Последний удар, казалось, уменьшил действие первого. Правда, княжна очень похудела, но все еще была прекрасна; очень грустна, но спокойнее, нежели ожидала Марья Ивановна. Зинаида мало говорила о Лидии, об ее муже, но подробно рассказывала о последних днях своей матери: как она прощалась с детьми, как просила у них прощения, как просила поминать ее, как она заклинала Зинаиду никогда не оставлять сестры своей. «Ты знаешь, – говорила старуха, оставшись одна с Зинаидой, – что хотя ты и младшая, но я на тебя больше надеюсь; ты знаешь, у Лидии нет царя в голове; я вижу теперь: она не сумеет ни с мужем ужиться, ни детей воспитать, ни с именем управиться; хоть я и рада, что выдала ее замуж, но крепко боюсь за нее. Если б Бог продлил мою жизнь, я бы поддержала ее, остановила, наставила; но, верно, Богу так не угодно – да будет его святая воля! Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком, не давай ей тратить много денег, отводи ее от ссоры с мужем, – она взбалмошна, ты знаешь; люби ее детей, люби ее, люби...» Зинаида не могла выговорить кого. Но повторяю, она была спокойна: она понимала великость своей жертвы, и невольно в ее сердце вкрадывалось чувство

самодовольствия. Жизнь для нее была не без цели.

Марья Ивановна познакомилась и с Городковым. Глядя на него, она поняла, что не всякая женщина могла быть к нему равнодушною. Он был прекрасный молодой человек, одевался чисто и щегольски, был веселого, даже шутливого нрава, обращался с Лидиею без излишней ласки, но с большою любезностью, с Зинаидой же – со всеми возможными знаками уважения. Марья Ивановна обедала с ними вместе в комнатах Зинаиды, которая еще была не совсем здорова: ей была отведена особая половина. Владимир Лукьянович во все время стола был очень мил и говорлив, читал несколько шарад, которые намеревался послать в «Вестник Европы», которые, как заметила Марья Ивановна, были написаны в стихах и очень замысловаты. Потом рассказывал о своем знакомстве с разными сочинителями и другими известными лицами; все его анекдоты были очень любопытны, так что, как признавалась Марья Ивановна, она и не заметила, как прошло время, и сама Зинаида несколько раз принуждена была улыбнуться. После обеда он распрощался с ними, сказав, что должен ехать хлопотать по делам, которые после старой княгини остались в большом расстройстве. Вот какое впечатление произвел Городков даже на рассудительную Марью Ивановну. Вскоре затем она снова должна была ехать в Казань с своими домашними. Прошло около года; в течение этого времени она получила от Зинаиды несколько писем, которые, впрочем, ничего не содержали для нее нового.

Но вот одно из них более замечательное:

«Спешу тебя уведомить, любезная Маша, что Бог даровал Лидии дочь: вчера, около полудня, она разрешилась от бремени очень благополучно; дочь назвали Прасковьею, в честь матушки. Итак, наше семейство прибавилось еще одним лицом. Что сказать тебе об мне? Горячка прошла; я не провожу ночей напролет в слезах, но тебе могу признаться, что часто на сердце у меня бывает так тяжело, что и описать нельзя. Если бы я была за тысячу верст от Москвы, то, может быть, я бы обо всем позабыла; но иметь беспрестанно перед глазами счастье, которое никогда не будет принадлежать мне, – это ужасно; скрывать от всех, от сестры, от себя самой, от него мое чувство – нестерпимо; одно мое утешение – молитва. Тогда я вспоминаю слова матушки, данное мною обещание, и становлюсь спокойною. Теперь я только начинаю понимать всю истину ее слов, – с тобой могу говорить откровенно: без меня Лидия погибла бы. Я никогда не могла вообразить в ней такой неспособности быть хозяйкою; она не знает цены ничему, даст приказание, потом забудет и прикажет совсем противное; слуги не знают, что делать; теперь они привыкли спрашиваться меня, а я, пользуясь забывчивостью Лидии, без спроса отменяю ее приказания, ей и нужды до того нет – даже это ей так понравилось, что она теперь уж вовсе не вмешивается ни во что, спит половину дня, а другую ездит по магазинам; и там я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить

все, что ей на глаза ни попадет. Часто я таким образом предупреждаю домашние вспышки, которые были бы неизбежны, ибо он большой хозяин и любит во всем порядок; часто в долгие зимние вечера мы разговариваем с ним о домашних наших делах: он отдает мне отчет в управлении общего нашего имени; я рассказываю ему о моих хозяйственных распоряжениях, а Лидия дремлет, – ей ни до чего нет дела, – и тогда мне кажется, что я настоящая хозяйка в доме, что я – боюсь вымолвить – жена его... Но бьют часы, он остается с Лидией, а я с сжатым сердцем бреду в мою уединенную келью и бросаюсь в холодную постелью... Но прочь эти мысли, я не буду роптать на провидение: оно создало меня на томительное, ежедневное, медленное страдание; но оно дало мне и утешение: оно дало мне способ содействовать счастью благородного, честного человека – способ сохранять спокойствие его прекрасной души, хотя он и не подозревает этого; я смотрю на себя как на жертву, принесенную его счастью, на жертву чистую, бескорыстную – и эта мысль возвышает мою душу. Я почти счастлива, мои грезы вполнину исполнились. С каждым днем я стараюсь сделаться достойною моего долга. Поверишь ли, что как скоро Лидия сделалась беременна, я принялась читать книги о воспитании; эти книги, может быть, в другое время показались бы мне скучными, но нечувствительно расширили круг моих мыслей: многое я вижу яснее, и многие новые чувства родились в душе моей; иногда в забвении

мне кажется, что на меня возложено звание матери, что я могу ему сказать „наш ребенок“. О, тогда мое сердце бьется сильно, кровь поднимается в голову, и странные вещи проходят чрез мои мысли, такие мысли, что я пугаюсь себя самой, вскакиваю и бросаюсь на колени перед иконою. Вчера, когда я слезно молилась, раздался первый крик младенца Лидии... его младенца. Что со мною сделалось в эту минуту – рассказать нет сил; это было – и невыразимая скорбь и невыразимая радость, и ад и рай; я и плакала и смеялась, я молилась и проклинала; я чувствовала трепетание в каждом нерве, в ушах звенело, дух захватывало, я была готова броситься к младенцу, расцеловать и – растерзать его... Такое состояние не могло быть продолжительно; я упала без чувств; когда очнулась, все порочное во мне затихло, передо мной носился образ матушки; я видела перед собой только его ребенка и долг мой. А Лидия, Лидия... она еще слаба, но уж горюет только о том, что ей нельзя будет выезжать в продолжение нескольких недель. Как она счастлива, или, лучше сказать, как она несчастлива!...»

Чрез несколько времени после этого письма из Казани отправился в Москву на службу молодой человек, родственник домашним Марьи Ивановны; он был человек не без состояния, молод, недурен собою, стихотворец и с совершенно романическим характером; он попросил у Марьи Ивановны писем в Москву к ее знакомым, и тогда, при взгляде на него, какая-то неясная мысль пробежала в голове Зинаиди-

ной приятельницы: она дала ему записочку к княжне с поручением вручить ей лично, только не влюбиться. «Почему знать, – думала Марья Ивановна, – ей этот молодой человек может понравиться; она молода, чувства ее живы, и тогда, может быть, в душе ее произойдет счастливая перемена, и она избавится от своего мучительного положения». Письмо, которое вскоре после того Марья Ивановна получила от Зизи, убедило ее в том, что она хорошо сделала. Вот оно:

«Лидия совершенно оправилась. Мы уже начали выезжать. Часто я бы хотела оставаться дома с моей Пашенькой, которая день от дня хорошеет, любит меня больше, нежели свою кормилицу, протягивает ко мне ручки: но нельзя Лидию оставлять одну; она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет; великого труда стоит мне иногда уговорить ее не поднимать талии так высоко, что ее совершенно безобразит. В обществе она приводит меня в совершенное отчаяние: она так рада музыке, балу, своему наряду, что не может скрыть своего восхищения; иногда, забывшись, она захохочет во всю залу так, что все на нее оглянутся; особенно в театре я должна беспрестанно дергать ее за рукав, чтобы она не сказала чего-нибудь неприличного молодым людям, которые толпою приходят к нам в ложу. Владимир Лукьянович, кажется, замечает это и стороною дает мне чувствовать свою благодарность. Вчера, пока Лидия в десятый раз примеривала в уборной новое платье, и, сидя в спальне, качала на

руках Пашу, он подошел ко мне и долго смотрел на меня, задумавшись. Я невольно смутилась; чтоб прекратить это странное состояние, я спросила у него: о чем он задумался? „Об вас, – отвечал он ласково, вы, может быть, не знаете, как я часто об вас думаю, Зинаида“. Тут он подошел ко мне, взял меня за руку и с меланхолическим взглядом пожал ее... Я затрепетала; еще в первый раз в жизни он с такою нежностью прикоснулся к руке моей... Не зная, что отвечать, я принялась ласкать Пашеньку, а он бросился в кресла, стоявшие в другом углу. Не знаю, заметил ли он мое смущение, или точно такой был смысл его слов, но он продолжал с особенным выражением и придавая вес каждому слову: „Мне бы хотелось устроить ваше именье, чтоб отделить там вашу часть, чтоб вы имели свое, независимое“. – „А зачем это? – спросила я. – Разве оно не может оставаться под вашим управлением?“ – „Но вы можете выйти замуж, – отвечал он, глядя на меня пристально, – надобно, чтобы все было в порядке“. – „О, никогда!“ – вскричала я, забывшись, и потом, одумавшись, стала говорить разные незначащие слова, чтоб объяснить мою мысль; но они еще более обнаруживали мое смущение. „Таковы-то вы все, девушки: как можете вы за себя на один день отвечать?“ – продолжал он с тем же выражением и не сводя с меня глаз. Я не отвечала ничего, а он продолжал: „Да, это необходимо будет сделать; я теперь стараюсь окончить нашу тяжбу о лесе, тогда у нас руки будут развязаны“. Тут вошла Лидия,

повертываясь и показывая свое платье; наш разговор прекратился. Выйти замуж... До сих пор эта мысль мне не приходила еще в голову; выйти замуж за кого-нибудь другого... Боже, пощади меня!»

Письмо от княжны Зизи к Марье Ивановне, месяц спустя.

«Благодарю тебя, любезная Маша, за письмо твое, которое мне привез твой казанский знакомый, Радецкий. Я не могла тебе ответить тотчас, потому что Паша была больна и Лидия также: она опять беременна и, несмотря на все увещания докторов, танцует без отдыха, – вот что говорится, не сходит с доски. Твой знакомый очень мил, но только, кажется, слишком романического характера; он на меня смотрит такими странными глазами, что мне становится смешно, или у вас в Казани уж такая мода? Мне кажется, он не слишком понравился и Владимиру Лукьяновичу: он с ним учтив и вежлив, по обыкновению, но, между нами, Владимир Лукьянович шутя называет его размазней, в чем и я, признаюсь тебе, согласна. Владимир Лукьянович очень заботится о нашей тяжбе с казною; как ни тверд его характер, но это дело его, видимо, беспокоит. Часто, когда Лидия бывает на бале, он приезжает прежде ее домой и часто ночи просиживает за бумагами; я это очень хорошо знаю, ибо он всегда заходит ко мне. Теперь, благодаря Бога, он не настаивает больше, чтоб я выезжала с Лидиею, и, кажется, рад, что я остаюсь дома, потому что Пашенька

беспрестанно больна, а Лидия не может обойтись без танцев. Меня же на бале ничто не занимает, и я так счастлива, когда могу добраться до моей комнаты. Прощай».

Это письмо, несмотря на его холодный тон, очень встревожило Марью Ивановну; в нем было что-то недосказанное; княжна что-то от нее скрывала. Письмо Радецкого объяснит тебе до некоторой степени эту загадку.

Письмо Радецкого к Марье Ивановне:

«Милостивая государыня, Марья Ивановна! Хорошее дали вы мне поручение; я исполнил его в точности: влюбился в вашу прекрасную приятельницу, да так, как никогда не ожидал, то есть до безумия. Как это случилось, рассказывать вам не буду, потому что сам не знаю. Дело в том, что моя участь решена; я чувствую, что не могу жить без княжны Зинаиды. Вы начали, вы должны кончить; вы были причиною моего знакомства с нею, вы должны помогать мне. Вы, может быть, спросите меня: нравлюсь ли я ей – в этом вся и задача. Чувства княжны Зинаиды для меня непроницаемы; в разговорах с нею я заметил прекрасный, образованный ум; но что скрывается за этим умом – неизвестно. Мне кажется, она принадлежит к числу женщин, одаренных от природы нежным сердцем, но которому гордость мешает чувствовать. Чувство им кажется слабостью, чем-то унижительным. Они боятся обнажить свое

сердце, они стараются прикрыть его всякою мишурою, чтоб избегнуть от пронизательных глаз мужчины. Может быть, я ошибаюсь, но такую мне кажется княжна Зинаида; отчего это происходит, от образа ли воспитания, или от ложной системы, – не знаю, только я не всегда понимаю мою княжну. Я еще и не заговаривал ей о моей любви: так я боюсь этой девушки; от одного ее слова зависит жизнь или смерть моя, а может быть, ее гордость или излишняя скромность заставит ее произнести страшное „нет“ даже тогда, как сердце ее будет противоречить этому слову. Вы лучше меня знаете княжну Зинаиду: научите меня, что должно мне делать, что говорить, как глядеть на нее. Она умеет одним взглядом приводить меня в трепет, и слова, которые рвутся из моей души, замирают на языке. Скажите, не лучше ли будет, если бы вы к ней написали, если бы вы стороною постарались выпытать ее обо мне мысли. Не может быть, чтоб она не понимала, что во мне происходит; неужли она думает, что я стараюсь ездить к ним в дом так часто только для того, чтоб слушать холодные учтивости ее зятя, его толкования о литературе „Вестника Европы“, перемешанные с рассказами о больших обедах? Сверх того, она должна понимать, что я, говоря по-светски, имею право предложить ей руку: я, как вы знаете, не беден, лета наши сходны, я имею порядочный чин, надежды на будущее – все это, разумеется, вздор, но я упоминаю обо всем этом потому только, что все это должно было бы обратить на меня внимание

княжны в ту или другую сторону, но ничего не бывало; вот уже третий месяц, как я езжу к ним в дом, и княжна обходится со мною, как в первое свидание: ни знака неудовольствия, ни знака приязни; она по-прежнему со мною ласкова, любезна и холодна. Как объяснить? С другой стороны, неужли ей так дорога ее теперешняя девическая жизнь? У ней нет матери, живет она почти в чужом доме, целый день нянчится с чужим ребенком, играет в доме роль какой-то гувернантки или даже ключницы; она – женщина с большим умом, с начитанностью, с пламенным воображением!.. Не понимаю. Бога ради, объясните мне все это, если можете, и не замедлите ответом; каждая минута для меня век страдания.

Радецкий».

Получив это письмо Марья Ивановна, как видно, пришла в большое недоумение. Что, в самом деле, ей было отвечать Радецкому? Вверить ему тайну Зинаиды – было делом невозможным; писать к Зинаиде, описывать ей все достоинства Радецкого – было бы бесполезно. Она могла ожидать успеха от молодых его глаз, от его ума, любезности, но не от своих писем. Сколько я мог догадаться, эгоизм, кажется, уже нашепывал Марье Ивановне, что она напрасно вмешалась в это дело, и она решилась, на что обыкновенно решаются нерешительные люди, то есть ничего не делать, не отвечать Радецкому и предоставить развязку его собственному уму и времени. Но не прошло двух почтовых дней, Марья Иванов-

на получила новое письмо от Радецкого. Вот оно:

«Вы не отвечаете мне, Бог вам судья! Не отвечать мне в такую минуту, когда вся жизнь моя есть цепь непрерывных терзаний!.. Мое дело не только не подвинулось вперед, но еще отодвинулось назад, потому что я рассорился с Городковым, и сам не знаю как. Вот как это случилось. У них был вечер; все уселись за карты; из неиграющих остались только трое: хозяйка дома, княжна и я. Я присел к столу у дивана, на котором сидели обе сестры; я очень был рад этому случаю говорить с нею наедине, потому что хозяйки дома нечего было считать: она или молчала, не понимая нашего разговора, или хохотала без всякой причины, или вскакивала с места. Княжна была задумчивее обыкновенного.

– Вы не играете? – сказала мне княжна, подняв на меня свои блестящие, черные глаза.

– И без игры, – отвечал я, – довольно терзаний на свете. Я не знаю, зачем человеку изобретать новое средство себя мучить, когда слишком довольно и старых.

Княжна улыбнулась; но если не ошибаюсь, в ее улыбке было что-то грустное.

– Сделайте милость, – сказала она насмешливым тоном, – перестаньте притворяться; я знаю, теперь в моде у молодых людей играть роль страдальцев, твердить об увядшей молодости, о потерянных надеждах; вы не можете себе представить, как все это смешно.

Эти слова тронули меня за живое.

– Неужли, – сказал я, – оттого, что есть люди, которые притворяются больными, вы в состоянии засмеяться, видя человека на смертной постели?

– Нет, но я бы послала за доктором.

– А если б доктор не захотел прийти?

– Я бы послала за другим.

– Неужли вы думаете, что менять докторов так легко?

Не знаю, отчего этот незначущий вопрос заставил княжну задуматься, по крайней мере мне так показалось, – но она скоро переменяла разговор.

– Вы еще долго останетесь в Москве?

– Не знаю; я не принадлежу самому себе...

– Кому же? – спросила княжна простодушно.

– Я принадлежу одному из тех слов, над которыми вы смеетесь.

– Опять! Как вы странны теперь, молодые люди!

– Столько же странны, как и все молодые люди от сотворения мира, разумеется в известных случаях.

– Я без шуток думаю, что по большей части вы сами не знаете, чего хотите; в голове у нас бродит несколько слов, несколько заученных стихов, из которых вы составляете что-то похожее на жизнь, и потом уверяете себя, что эта жизнь вас терзает.

– Неужели, княжна, вы обо всех так думаете без исключения?..

– О нет! – сказала она с обыкновенным выражением, – но о многих, – прибавила она

спокойно. – Так мало надобно для счастья жизни, а это не многие понимают: все гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуются, что не могут поймать ее.

– Вы справедливо заметили, что для счастья надобно мало, но так же мало надобно и для страданий. Иногда в них виноват сам человек, нечистая совесть, корыстные чувства, порочная, непозволенная страсть – об этом и говорить нечего. Но бывает, что в душе горит чистое, святое чувство, что ощущаешь в себе способность посвятить всю свою жизнь, например женщине, что на это отвечают холодностию, презрением...

Мои слова явно производили впечатление на княжну: она была в волнении – то краснела, то бледнела; грудь ее высоко поднималась; я видел это действие, производимое моими словами, старался воспользоваться редкою минутою пробудившегося в княжне чувства и выразить в словах все, что волновалось в душе моей; но ко мне подошел хозяин дома.

– Сделайте мне одолжение, – сказал он приветливо, – займите на минуту мое место за бостоном: мне надобно кое-что приказать в доме...

В сию минуту я готов был выбросить его за окошко.

– Я не играю... я не умею играть! – сказал я с видимою досадою.

– Но одну минуту, только одну минуту подержать карты в руках, – отвечал он, улыбаясь. – Впрочем, как вам угодно; я не хочу принуждать вас сделать мне

одолжение. Извините, что обеспокоил вас, – прибавил он холодно.

Я опамятовался, хотел было просить у него карты, но он уже раскланивался со входившим гостем, который с радостью принял его предложение. Я посмотрел вокруг себя – княжна исчезла; я остался с глаза на глаз с хозяйкой дома.

– Что сделалось с княжной? – спросил я ее.

– Ей спать захотелось, – отвечала Лидия и захохотала во все горло.

О чем мне было говорить с нею? Я был огорчен, взбешен и не в состоянии пересыпать из пустого в порожнее. Воспользовавшись первою минутою, когда Лидия Петровна вскочила, по своему обыкновению, я выбежал из дома как сумасшедший. Вы можете себе представить, что во мне происходило в это время! Дожидаться в течение долгих дней этой минуты, как заветного рая; быть прерванным тогда, как, может быть, душа ее стала открываться для чувства, и остаться, не разрешив загадки, не высказав вполне души своей... это ужасно!

Я целую ночь не мог заснуть и поутру рано послал к Городкову, чтоб извиниться в моей невежливости: меня не приняли. На другой день то же, на третий день опять то же. Я осведомляюсь о здоровье всех домашних поименно; лакеи мне отвечают, что все, слава Богу, здоровы и изволили уехать со двора; но это была неправда: на дворе стояли экипажи, следовательно, хозяева были дома; это значило просто, что меня

не хотели принимать. Я не знал, что делать; я уже решился писать к Городкову и откровенно объяснить ему все; но страх подвергнуть свою участь одному слову, не приготовив княжну к моему объяснению, удержал меня. Вечером я встретил Городкова в одном знакомом доме и скрепя сердце подошел к нему, начал было извиняться в моей невежливости; он прервал мои слова с обыкновенного своею улыбкою, говоря: „И! помилуйте, как это можно! есть ли о чем и говорить! сделайте милость, не беспокойтесь!“ – и прочее тому подобное; а между тем он обратился к другому. Еще раз начать говорить с ним – в эту минуту было выше сил моих; однако ж я решился ехать к нему на другой день, но меня опять не приняли. Я был совершенно в отчаянии и не знал, что предпринять; каждый день ходил я на почту, чтоб узнать, нет ли от вас письма, не затерялось ли оно – тщетно! Бога ради, не медлите ответом, не мучьте меня. Вы лучше знаете семейственные отношения этого дома: объясните мне, что все это значит. Неужели Зинаидин зять мог на меня рассердиться за вещь столь обыкновенную в свете? Тут должна скрываться какая-то тайна, над которой я тщетно ломал себе голову. Я не могу скрыть от вас, что поведение г. Городкова мне кажется очень странным: он пользуется прекраснейшею репутациею в свете; он принят в лучших домах; он очень любезен в обращении, но мне не понравился он с первого раза – и знаете отчего? Он входит в комнату боком, всегда как-то пролезает

между людьми. Не хочу без вины обвинять его; это невольное движение может происходить и от глубоко сокрытого в душе низкого чувства, может происходить и от излишней скромности, и от застенчивости; но, воля ваша: он, право, что-то слишком любезен, слишком приветлив, слишком уступчив; достигнув в свете некоторой оседлости, или что называют *aplomb*, он все во всяком чего-то ищет, соглашается, с чем не должно соглашаться, улыбается тому, кто ему надоедает; все это, как хотите, переступает пределы обыкновенной светскости и переходит за ту черту, где любезности не отличишь от притворства и бесцветность характера – может быть, от грехов тайных и тяжких. Я не могу постигнуть существования человека, который никогда никому не противоречит, точно так же как человека, который спорит только для спора. Словом, есть что-то непонятное в этом Городкове. В нынешнем свете, когда искусство лицемерия вошло в правила воспитания между грамматикой и нравственностью, человека угадать трудно: надобно знать всю его историю с колыбели, чтоб составить себе о нем какое-нибудь понятие. Я старался наведываться о Городкове сколько можно и узнал, что он целый век служил, взятки не брал, что он классик, прекрасно играет в бостон, пишет шарады – и только. Но когда я смотрю на его голову, уплывшую в воротник фрака, на эту едва приметную складку возле глаз под висками, на его румяное, вечно улыбающееся лицо, – что-то тайное говорит мне, что все это маска и что в душе его не то. Бога ради,

расскажите о нем все, что вы знаете и что вы заключаете из последнего его поступка, а больше всего напишите о Зинаиде. Писали ли вы к ней? что она отвечала вам? Бога ради, не морите меня медленной смертью. Родных у ней никого нет: вы одни моя надежда. Я не знаю, на что я в состоянии теперь решиться».

Бедная Марья Ивановна, получив это письмо, была не в меньшем замешательстве. Пока она собиралась отвечать ему, пришло новое, следующее письмо:

«Спешу вас уведомить, что участь моя решена. Я счастлив, так счастлив, что не могу этого и выразить: княжна Зинаида соглашается выйти за меня замуж! Я плачу от радости, как ребенок. Наше объяснение с княжною было очень странно. Вот как это случилось, посудите сами.

Получая беспрестанно отказы в доме, я, как пошлый любовник, бродил под окнами моей красавицы; но все было тщетно: княжна не выезжала со двора и не подходила к окошку; люди, у которых я осведомлялся об ее здоровье, смотрели на меня с насмешкою; неприязнь господ перешла к слугам, как обыкновенно случается, без всякого с их стороны сознания: барин косится и они также. Но, к счастью, на сем свете существуют могущественные полтинники, которыми отпираются двери и от которых немые делаются говорливыми; этим способом узнал я однажды, что княжна в церкви – я поспешил туда; вхожу: в церкви темно; с трудом в отдаленном углу за столбом я узнаю

княжну: прихожан мало; она, вероятно думая, что на нее нимало не обращают внимания, стояла на коленях, горячо молилась и горько плакала. Я не хотел мешать ей и стал так, чтоб она не могла меня заметить. Что значили эти слезы? Были ли они действием одной набожности, или тайной скорби? Как бы то ни было, мне показалось, что теперь говорить с княжною было для меня долгом. Я дождался окончания службы и, когда княжна вышла с другими в притвор, подошел к ней. Взглянув на нее при тусклом свете свечи, горевшей у образа, я испугался: глаза ее были красны, щеки впали, лицо носило отпечаток жестокого внутреннего страдания.

– Княжна! – сказал я ей, – мне необходимо сказать вам несколько слов.

В первую минуту она как будто испугалась и хотела скрыться от меня; но потом, подумав немного, остановилась и отвечала:

– Говорите, я вас слушаю.

Мы вышли на паперть; она отослала провожавшего ее лакея к церковной ограде. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасною... Вечер был тихий, последние багряные лучи солнца освещали ее прекрасное, благородное лицо, вокруг которого из-под соломенной шляпки вились по плечам в беспорядке черные, мелкие кудри.

– Княжна! – сказал я твердым голосом, – вы несчастливы!

В одно мгновение на этом лице, удрученном

горестью, блеснуло ее обыкновенное, гордое чувство.

– Кто дает вам право, – отвечала она, – спрашивать у меня отчета?!

– Мне на это дает право то чувство, которое вы мне внушили, и клятва, данная мною перед Богом, которому мы вместе теперь молились, посвятить вам жизнь мою до последнего издыхания. В моем теперешнем положении я должен говорить прямо и решительно.

Княжна задумалась; горькие слезы полились из ее глаз; исчезло выражение гордости, на минуту мелькнувшее в лице ее: я видел пред собою слабую, истерзанную женщину...

Вдруг она взяла меня за руку:

– Скажите, вы меня не обманываете?..

– Княжна!..

– Вы были бы готовы на мне жениться, если бы я согласилась?

– Я был бы счастливейшим человеком.

– Здесь говорить нам нельзя; не спрашивайте меня ни о чем... Через несколько часов я пришлю к вам в дом записку...

Я хотел поцеловать ее руку, но она, отдернув ее, поспешно пошла к ограде; я хотел за ней следовать, но она дала мне знак рукою, чтоб я оставил ее одну. Я возвратился домой в большом раздумье; как ни радовала меня надежда на счастье, но такое быстрое, неожиданное исполнение моих желаний пугало меня; в поведении княжны по-прежнему было что-то странное и неизъяснимое; я терялся в

догадках. Не прошло получаса, как я получил от нее следующую записку: „Я согласна отдать вам мою руку и ввериться вам, как благородному человеку; но особенные обстоятельства заставляют меня желать, чтобы наш брак совершился как можно скорее. Одно мое условие: не спрашивать меня о причине такой странной просьбы: не спрашивать меня ни о чем; ввериться безусловно моей совести... Когда-нибудь вы все узнаете“.

Я отвечал на эту записку, что верю ее благородному сердцу, не буду ее ни о чем спрашивать и что надеюсь завтра же устроить все для нашей свадьбы.

Вот что со мной было! Хотя я и не получил еще от вас ответа, но здесь не имею ни-кого, с кем поделиться моим странным счастьем. Пишу к вам ночью: душевное волнение мешает мне сомкнуть глаза. Со светом отправляюсь хлопотать, чтоб устроить все для венчания. Едва ли кому-нибудь удавалось жениться так чудно!»

На следующей почте Марья Ивановна получила следующее письмо от молодого человека:

«Все кончено; участь моя решена! Вот новая записка ко мне от княжны Зинаиды. „Простите меня, не проклиняйте меня, сочтите меня безумною, если хотите... Нет, благородный молодой человек, я не могу быть вашею женою! Я не хочу вас обманывать: я не могу любить вас. Постарайтесь найти другую женщину, которая бы была вас достойна. Я знаю, для моего

поступка нет оправдания, но в вашем сердце я найду себе по крайней мере прощение. Не спрашивайте отчета у несчастной жертвы судьбы; не допытывайтесь узнать мою тайну; забудьте, забудьте меня!“

Мне нечего прибавлять к этому письму: вы можете вообразить себе мое положение. Бога ради, напишите мне, что вы можете понять во всем этом. Если я и не могу сам быть счастливым, то это не мешает мне пожертвовать, если нужно, моей жизнью, чтоб спасти бедную девушку от козней неизъяснимых, но действительных, которые, может быть, ее окружают. Проникнуть эти козни я почитаю святым долгом; я уже начинаю подозревать некоторые из них, но, может быть, все это мечта... Мои мысли не имеют никакого прочного основания; сеть, в которой находится княжна, заплетена так искусно, что укрывается от самого пронизательного взора. В смертной скорби моей я не имею даже сил действовать; мысли мои мешаются, одна истребляет другую, и после долгого напряжения я нахожу только то, что я страдаю, страдаю ужасно и не вижу конца моим страданиям. Напишите мне хоть два слова; может быть, они наведут меня на открытие того, над чем я тщетно терзаюсь».

Марья Ивановна на этот раз решилась отвечать молодому человеку; она, кажется, отвечала ему пустыми фразами и уверениями, что ей самой совершенно непонятен поступок Зинаиды. Приязнь к подруге своего детства мешала ей открыть страшную тайну, но между тем она написала к ней

письмо, где, как мне говорила, в самых сильных выражениях, какие умела только найти, упрекала ее за ее поступки, намекала, что догадывается об их причине, и первый раз в жизни осмелилась говорить княжне о том, как порочно ее чувство. Ответ княжны Зинаиды довольно любопытен. Вот он:

«Если бы кто-нибудь другой упрекал меня, а не ты, я бы оставила эти упреки без внимания; но ты – ты знаешь мое положение, ты знаешь все терзания моего сердца, все долгое борение с самой собою, продолжающееся не день, не два, но годы, – и ты можешь упрекать меня! Да, мой поступок с Радецким может быть неизвинительным в глазах света, но не в твоих глазах. Мне жаль молодого человека, но что же делать? В минуту скорби и отчаяния я думала, что могу замужеством с ним заглушить то, что происходит в моем сердце и о чем говорить не смею; но когда я прочла в его записке, что завтра я должна предстать с ним пред алтарем, вся твердость меня оставила. Обмануть человека, поклясться ему в вечной любви, когда я... нет, это было невозможно! Я решила лучше принести себя и жертву, прослать ветреною, безумною... Моя участь решена: никогда никому не буду принадлежать я; и когда ни Лидия, ни ее дети не будут во мне нуждаться, монастырь сокроет несчастную если не от собственных страданий, то по крайней мере от светских толков. Впрочем, если я во многом виновата перед Радецким, то и он нанес мне оскорбление жесточайшее, какое только могла изобрести его ревность. Радецкий человек без сердца.

То, что он говорит обо мне, оскорбительное подозрение, которого он не мог скрыть, – это все я ему прощаю; но, в негодовании на меня, он старается излить желчь на все, меня окружающее. Представь себе, он осмелился написать ко мне, что проникнул в жизнь мою, что он угадывает, кто мне препятствует выйти за него замуж; он осмелился предостерегать меня и обвинять в каких-то корыстных видах – кого ты думаешь? – его, ангела доброты, бескорыстия... Оттого, что прямота его ума, прямота его сердца не допускают его до романических бредней; оттого, что он видит жизнь иначе других и в глубине сердца скрывает свои высокие чувства, твой Чайльд-Гарольд manque⁴ почитает его способным к низким, корыстным видам!.. Это письмо, признаюсь тебе, даже утешило меня: я показала себе не столь виновною пред Радецким, как прежде; ибо лишь тот, кто сам способен к низким расчетам, мог изобрести такую выдумку, и против кого же?.. Где справедливость на свете? Юноша влюбляется, его намерение не удастся, и он почитает себя вправе чернить героя добродетели, несчастного... несчастного, может быть, столько же, сколько и я?»

В этом письме также, как ты видишь, много недосказанного: княжна многое скрывала от своей приятельницы.

Уж впоследствии Марья Ивановна узнала все, что случилось в промежутках между сими письмами.

С некоторого времени, когда княжна начала более выез-

⁴ Неудавшийся (франц.).

жать, Городков приметно стал беспокоен; он изыскивал разные предлоги, чтоб удерживать жену свою от выездов; он часто заводил речь о семейственном счастье, о расходах, с которыми сопряжены выезды, и о святой обязанности отца семейства стараться умерять свои издержки, чтобы оставить более детям; но эти слова трогали одну княжну Зинаиду, – для Лидии они были непонятны. Как ни ограничены были ее понятия, но все она была правнучка Евы и умела с непостижимым искусством так направлять разные домашние обстоятельства, чтобы выезды делались необходимостью; сам муж ее, несмотря на всю свою прозорливость, невольно увлекался жениным влиянием: то являлся неожиданный визит, который необходимо надобно отплатить, а этот визит втягивал и какое-нибудь новое знакомство; то являлось приглашение в такой дом, где можно было ему сойтись с нужным человеком; все это устраивалось как бы нечаянно, а между тем было делом простодушной Лидии. Для этого у ней являлась и хитрость и сметливость; с молодыми людьми, с которыми она кокетничала, у ней устроен был действительный заговор против мужа; посредством их она действовала на тетюшек, бабушек – словом, на все приглашающие лица, – и благодаря этой тактике выезды не перемежались. Не успев с этой стороны, Владимир Лукьянович обратился к другому средству: за несколько дней до выезда он начинал беспокоиться о здоровье своей дочери. «Что это, – говорил он, – Зинаида Петровна? кажется, Паша как будто нездорова; по-

смотрите, и глазки у нее посоловели, и кушает мало». Зинаида пугалась, посылала за доктором: доктор советовал дать дитяти гуфландов порошок: тогда дитя действительно занемогало, а княжна, разумеется, оставалась дома. Появление Радецкого в доме немало озаботило проницательного Владимира Лукьяновича; он вообще терпеть не мог людей не по себе, тех людей, которые читали не то, что он читал, говорили не то, что он говорил, не восхищались его шарадами, без внимания слушали его литературные суждения и особенно – засматривались на княжну. К сожалению, Радецкий соединял в себе все эти качества и недостатки. Крепко задумался Владимир Лукьянович: он не знал, на что решиться; страшил его выезд, страшил его и гость неприглашенный. Предвидя беду заранее, он начал, как мы видели, исподволь, и очень тонко, над ним подшучивать, разумеется в его отсутствие; стороною заводил он речь о появлявшейся тогда романтической школе, которая тогда журналистам служила мишенью для холостых зарядов, как ныне искренность, благородство, бескорыстие и прочее тому подобное. В это счастливое время даже журналисты занимались только литературою; теперь они хватились за ум – литература у них последнее дело. Владимир Лукьянович часто толковал лишь о самонадеянности, о тщеславии молодых людей, о их дурном вкусе. Известно, что самые пошлые мысли суть самые высокие, и, наоборот, самые высокие суть самые пошлые, точно как самая смешная острота есть всегда самая гру-

бая: все зависит от той точки зрения, с которой они представлены, и кем представлены. Когда Байрон говорит о ненависти к жизни, о презрении к людям, его слова поражают; те же самые мысли смешны в устах какого-нибудь журнального рифмотворца; книги Сильвио Пеллико^[2] нельзя читать без особенного чувства, а между тем каждая строка в ней была уже двадцать тысяч раз прежде сказана. Эти, по-видимому, столь простые мысли, вошедшие, так сказать, в домашний обиход нашей жизни, равно являются невольно гению среди его высоких мечтаний; ими же пользуется и человек, повторяющий их понаслышке, без всякого сознания. Что может быть выше мысли, заключающейся в сих словах: «Для истины я готов пожертвовать жизнью»? И что может быть смешнее этого выражения, когда оно встречается в наших газетных нравоописательных статейках?.. Все это длинное рассуждение было необходимо, чтоб объяснить тебе, каким образом Владимир Лукьянович производил такое сильное впечатление на княжну Зинаиду; весь его разговор был составлен из подобных фраз, но для княжны они были выражением искреннего, глубокого, внутреннего чувства; и когда от этих фраз Владимир Лукьянович искусно переходил к оценке людей, которые почему-либо казались ему странными, — как мелки, как ничтожны казались эти люди для княжны Зинаиды, в сравнении с предметом ее обожания! Разговор Радецкого с княжной сильно поразил Владимира Лукьяновича. На его лице не было приметно никакого движения;

но он поставил несколько ремизов, чего с ним еще никогда не случалось – и не мудрено: слух его был напряжен и направлен к тому месту, где сидели молодые люди; немногие слова доходили до его ушей, но по этим словам он мог судить, что дело идет не на шутку. Чтоб прервать этот разговор, он употребил описанный Радецким маневр, который, с одной стороны, удался совершенно. На княжну последние слова Радецкого, которыми он нечаянно намекнул на ее собственное положение, сильно подействовали; в ее слухе беспрестанно звучали: непозволенная страсть, нарушение долга; она убежала в свою комнату в совершенном отчаянии. Это не укрылось от проницательного дипломата; но он видел только волнение княжны и, не постигая вполне его причины, приписывал начинающемуся расположению к Радецкому. С этой минуты Владимир Лукьянович начертал себе предварительно полный план атаки: первое дело было – отдалить опасного соперника, а второе – самому принять решительные меры; прежде всего надлежало увериться, до какой степени Радецкий мог быть ему препятствием. На другой день Владимир Лукьянович, оставив жену на бале, под предлогом дел возвратился домой и прямо пошел в комнаты Зинаиды. Зинаида, отослав няньку ужинать, осталась одна с Пашенькою на руках... Представь себе маленькую комнату, темно-синие обои, ковры; в углу небольшой турецкий диван, небольшой открытый шкаф с книгами, фортепьяно, на окошках и по столам цветы. В комнате темно; тусклым

светом лампы освещается один диван, а на нем прекрасная девушка в белой блузе, в этой самой обольстительной женской одежде (которая лишь начинала входить в моду и которую дамы тогда осмеливались надевать только дома); темноватого цвета лента обхватывает тонкую талию; черные лоснистые волосы рассыпаются по плечам мелкими кудрями; на стройной ножке бархатные туфли, опушенные мехом. Княжна держит на руках младенца; он улыбается ей, хватая ее за кудри, за блестящие серьги; княжна отвечает ему улыбкою, играет с ним, но черные мысли отражаются в ее задумчивом взоре; ее улыбка горька; ее веселый разговор с ребенком печален; она наклоняется к нему, целует его, как бы для того, чтоб вдохнуть в себя воздух невинности и спокойствия, — но тщетно: вся жизнь ее разворачивается пред нею; она вспоминает свои детские игры, первые впечатления, которые произвели на нее в первый раз прочитанные украдкою стихи; она помнит их от слова до слова; она вспоминает, как трепетало ее сердце при чтении первого попавшегося ей романа, как искренно плакала над судьбою героини и прятала драгоценную запрещенную книгу под изголовье, чтоб прочесть ее вновь и с новым наслаждением; потом представляется ей, как нечувствительно чтением расширился круг ее понятий, как твердел ее ум и крепло сердце; как новые неожиданные мысли из глубины души, как будто из другого таинственного мира, возникали пред нею; как она ощущала в себе зарождение новых чувств, которые невольно вмешивались во все ее

существование и наводили магический свет на все, ее окружавшее: тогда, как часто, обративши внимание на собственные движения души, она не узнавала самой себя и дивилась своему перерождению; тогда с насмешкою она смотрела на себя в прошедшем, сравнивала себя с своими сверстницами, и в ее сердце зарождалась могучая гордость, эта сила и болезнь человека; вот уже является в ней нетерпение выйти из тесного круга, в котором заключила ее домашняя жизнь: она мечтает быть супругою, матерью, хочет жить, действовать; в ее голове звучат беспрестанно стихи Залиса, так счастливо переданные одним русским поэтом:

Действуй! мудрец познается делами;
Слава с бессмертьем грядет им вослед.
Действуй! означи благими трудами
Алчного времени быстрый полет.

Но вот все ее мечтания, все чувства сливаются в один определенный предмет: пред ней является наяву исполнение всех ее идеалов – прекрасный мужчина, скромный, тихий, добрый; в его разговоре она слышит те заветные, любимые слова, которые до того она встречала только в книгах, которые отзывались в ее сердце и были непонятны всем ее окружающим; и это соединение всех совершенств – первый мужчина, которого она видит; с ним является первая любовь, первые надежды, первые муки... И этот мужчина возле нее; она видит его каждый день, – но их разделяет страшная, веч-

ная бездна! Она скрывает пред ним душевные бури; когда сердце ее полно, голова горит и грудь высоко поднимается, она убегает его, она не смеет прикоснуться к нему, не смеет выговорить ему лишнего ласкового слова; она не может, она не должна любить его! И так протечет вся ее жизнь, жизнь неполная, ложная, как жизнь блестящего насекомого, пригвожденного к дереву холодным наблюдателем; тщетно оно расправляет радужные крылышки, трепещет, рвется; вокруг – солнце, вольный душистый воздух, а внутри – долгая, томительная боль, и нет сил от нее оторваться, – нет конца и страданиям бедной девушки: что бы ни случилось, какое бы ни было стечение обстоятельств, какие бы перевороты ни потрясли общества, всю землю, – бездна между ним и ею останется вечною, а перед нею еще долгая, долгая жизнь! Достанет ли у ней сил переносить это непрерывное страдание? Достанет ли ей сил каждый день быть с ним вместе и скрывать это борение с самой собою, когда часто оно доводит ее до степени, близкой к сумасшествию? Достанет ли ей сил убегать в свою комнату, когда при одном его взгляде кровь кипучим ключом бьет в ее жилах, когда все мысли о долге, о чести, о стыде улетают из ее головы, как будто волшебством – и она готова броситься в его объятия? «Нет, – думает княжна, пора этому положить конец, должно оставить этот дом; матушка простит меня; Бог сохранит Лидию и ее ребенка... келья в дальнем монастыре, власяница и камень в изголовье – вот что лишь может спасти меня от самой се-

бя!» Но в эту минуту младенец, как будто понявший ее мысли, схватил ее за шею своими ручонками; княжна очнулась; она снова вспомнила о матери этого ребенка, о последних словах своей матери, – и все ее мысли смешались: ее душа пришла в то страшное, тяжкое состояние, когда два противоположные долга борются между собою, когда одна мысль уничтожает другую, когда человек обвиняет себя и в эгоизме и в неблагоразумном самоотвержении, когда он тщательно перебирает все изгибы своего сердца, боится обмануть себя, ищет первой отдаленной причины каждого своего чувства, каждой своей мысли, взвешивает каждое движение и в отчаянии не находит ответа...

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Городков. Он остановился на пороге; его поразила прекрасная картина, бывшая пред его глазами. Княжна сначала не узнала его, но невольно вздрогнула; не знаю, что происходило в его душе в эту минуту, но он был задумчив. Он тихо, почти шепотом, поздоровался с княжною и в глубокой молчании бросился в кресла, стоявшие возле дивана. Так прошло несколько минут.

– Что с вами? – спросила наконец его Зинаида с беспокойством. – Отчего вы так задумчивы?

– Мало ли о чем мне думать! – отвечал он печально, – много бывает на сердце такого, чего не расскажешь и что между тем наводит невольную тоску.

– Но, говорят, рассказ того, что на сердце, облегчает пе-

чаль.

Городков вздрогнул.

– Да, – отвечал он, – есть люди счастливые, вот как, например, наш романтик, у которого для всего есть готовые фразы и который, мимоходом сказать, кажется, делает вам глазки – вероятно, чтоб иметь предлог сочинить туманную элегию в модном вкусе.

Княжна вздрогнула. Городков посмотрел на нее со вниманием.

– Я не думаю, чтоб из моих слов он мог сочинить нежную элегию, – сказала она, улыбаясь, – я ему всегда говорю столько резких истин, что, верно, они отобьют у него охоту толковать о своих романтических страданиях.

Городков вздохнул еще раз; но, кажется, от удовольствия, по лицу отгадать этого было невозможно.

– Что до него! – продолжала княжна, – скажите мне лучше, что с вами?

Городков придвинул кресла.

– Я буду говорить с вами откровенно, – сказал он, положив на стол свои прекрасные, белые, аристократические руки. – Скажите, что моя за жизнь? С кем могу я поделиться сердцем? Что ожидает меня в будущем? Вы знаете вашу сестру; вы знаете... – прибавил он, запинаясь, – она не может понимать меня, она мне не может быть помощницею в жизни, ни другом в печали, ни матерью детей, ни даже хозяйкою дома. Хорошо, что вы теперь из любви к ней взяли на себя

все ее обязанности; но вы можете выйти замуж, я могу занемочь, умереть – что тогда будет с моим ребенком?

Княжна затрепетала, хотела что-то говорить, но стискивала зубы. Городков не сводил с нее глаз.

– Смотрите, как покойно Пашенька заснула на ваших руках; она вас знает больше, нежели Лидию, и в самом деле, вы настоящая мать, вы единственный друг мой.

Городков закрыл лицо свое руками, но, вероятно, не так плотно, чтоб не видеть, что делается с княжною.

– Но надолго ли это? Вы выйдете замуж; у вас будут свои обязанности, другого рода привязанность, свои дети...

– Никогда! – вскричала княжна вне себя.

Он взял ее за руку; Зинаида была как в огне. Невнятные слова срывались с ее языка и замирали.

– Как это может быть? – отвечал Городков, смотря на нее нежно. – Вы сами не можете отвечать за себя; да и с моей стороны было бы слишком бессовестно требовать от вас такой жертвы. Не правда ли?

Княжна была в сильном волнении. Городков снова взял ее за руку, поцеловал ее; бедная девушка невольно прижалась к его щеке; ее густые кудри рассыпались по их сомкнутым лицам и, как бы непроницаемой пеленою, сокрыли то, что происходило в эту минуту; но ребенок, разбуженный этим движением, вскрикнул; княжна опамятовалась.

– Паше пора спать, – сказала она, поспешно встала и понесла ребенка в детскую. Городков последовал за нею в раз-

мышлении; княжна наклонилась над колыбелью, говорила скоро, отрывисто несвязные слова; вся она была как в лихорадке, лицо ее горело, руки дрожали. В эту минуту явилась Лидия в бальном платье, напевая мазурку и почти танцую. Она не заметила ничего, хотя княжна смотрела на нее как преступница.

– Паша нездорова, – сказал муж, – мы с сестрицей насилу могли ее успокоить.

– Что такое? – сказала Лидия с своим остолбенелым взглядом, который один служил ей для выражения всех возможных чувств. Посмотрев на колыбельку, Лидия прибавила: – Она, кажется, започивала, и мне также спать очень хочется; я так устала!

Ребенок в самом деле заснул спокойно, ибо нисколько не был болен. Слова Городкова были ложь, но Зинаида разделила ее своим молчанием; между ней и мужем Лидии уже как будто заключилось тайное условие; она уже чувствовала необходимость что-то скрывать от сестры своей...

Лидия рассеянно благословила Пашу, чего никогда не забывала делать и чем, кажется, ограничивала весь долг материнский, и отправилась в спальню. Зинаида всю ночь промолилась пред образами и к рассвету почти в беспамятстве бросилась в постель.

В следующие дни посещения Городкова сделались чаще прежнего; иногда он говорил княжне такие слова, которые она одна могла понимать; иногда просто смотрел на нее, но

такими глазами, которые говорили больше слов. Борение в сердце княжны достигло высшей степени; она не смела смотреть на сестру, хотя Лидия ничего не понимала, что вокруг нее происходило, и только радовалась тому, что муж не мешает ей выезжать. Княжна проводила ночи без сна, а когда засыпала, то воспаленное воображение повторяло ей все слова, сказанные во время дня, все движения ее сердца, досказывало недосказанное и увлекало ее в мир обольстительных, сладострастных видений. Просыпаясь, она с ужасом и наслаждением вспоминала свои ночные грезы; она видела, что стоит на краю пропасти, и не имела сил остановиться. Ее комната, в которой все напоминало обольстительный вечер, сделалась ей невыносимой, ее постель – ужасной; она потеряла способность молиться в этой комнате. Однажды вечером, когда она сидела у растворенного окна и теплый летний вечер коварно раздражал ее воображение, послышался благовест – и тысяча воспоминаний возродились в душе ее: она вспомнила свою детскую невинность, свою детскую, чистую, безмятежную молитву. Как бы ей хотелось снова пробудить эти тихие чувства в душе своей! Она почти невольно вышла из комнаты и, сама не зная как, очутилась в церкви. Там произошла сцена, описанная в письме Радецкого. Молитва придала бодрости княжне; слова молодого человека, столь ясные, простые, столь исполненные чувства, поразили ее; они ей показались неожиданною помощью, ниспосланною свыше; твердость ее воли восторжествовала; она решилась

одним ударом рассечь узел преступной страсти, принести себя в жертву, не отнимая у себя средств исполнить последнюю волю матери; она с героической решительностью предложила свою руку молодому человеку. Но когда она написала записку Радецкому, тогда осталось ей еще другое, трудное дело – объявить о своем решении Городкову. Она выбрала ту минуту, когда муж и жена были вместе, собралась с силою, и задышающимся голосом выговорила: «Я выхожу замуж за Радецкого». Лидия захохотала, Городков побледнел, княжна поспешила договорить: «У нас уже все условлено; завтра наша свадьба; он едет отсюда... надобно скорее...» С этими словами ее голос прервался... она удалилась. Городков остался с женою и проговорил несколько незначащих фраз, которых она почти не слыхала, потому что ей тотчас в уме представился бал, который надобно будет дать по случаю свадьбы.

Когда Лидия заснула, муж ее отправился в комнату Зинаиды; он знал, что она не может спать. Княжна сидела на диване; слезы ручьями лились из ее глаз.

– Я пришел поговорить с вами о ваших делах, – сказал Владимир Лукьянович прерывающимся голосом. – Времени остается немного, а мне нужно кое о чем с вами условиться. Как родственник ваш, я должен позаботиться о том, о чем, может быть, вы сами позабыли. У вас есть имение...

Княжна рыдала.

– Мне ничего не надобно, – говорила она, – я оставляю все вам, вашим детям, сестре.

– Это невозможно; ваш муж найдет это странным, неприличным; вы сами будете жалеть; у вас будут новые обязанности... новая привязанность... могут быть дети.

Эти слова, напоминавшие княжне прежний, обольстительный вечер, разрушили ее последнюю твердость; она бросилась на шею к Городкову и с отчаянием произнесла только одно слово: «Владимир!..» Но в этом слове были забыты и долг, и данное обещание, и девическая стыдливость. Обольститель сжал ее в своих объятиях, и длинный, длинный поцелуй помешал княжне договорить это слово. Но вдруг она вырвалась из его объятий, прислонилась к столу и трепещущим голосом произнесла:

– Владимир! именем Бога, оставь меня!

Городков хотел к ней приблизиться; но она сложила руки с умоляющим видом:

– Именем Бога, оставь меня!.. Завтра, завтра все узнаешь, – произнесла она, задыхаясь от слез.

– Но завтра, – отвечал Городков, – завтра ты будешь замужем?

Княжна всплеснула руками и закрыла лицо свое:

– Как ты мог поверить этому, Владимир?.. Разве ты не видишь?.. разве ты не знаешь?.. Ты... один, ты... один! – вскричала она вне себя и выбежала из комнаты.

Городков хотел за ней последовать, но, боясь разбудить домашних, возвратился в свою комнату. Вошедши в нее, он насмешливо улыбнулся. «Чорт возьми! – сказал он, – дело

не на шутку!» Но он взглянул в зеркало и испугался своего собственного образа; оглянулся, нет ли в комнате кого из посторонних, и – в одно мгновение исчезла с его лица насмешливая улыбка, – как будто ее и не бывало; он лег в постель и преспокойно проспал до утра.

На другой день княжна написала свою вторую записку к Радецкому. Радецкий отвечал на нее и в тот же день уехал из Москвы.

Не знаю, что бы могло случиться с княжною в это время; к ее счастью, особенное происшествие сделало большой переворот в ее семейной жизни. Лидия, уже беременная, танцевала, как я говорил выше, без усталости; в то самое утро, когда Зинаида решила судьбу Радецкого, Лидия почувствовала себя нездоровою. Послали за доктором; он, осмотрев Лидию, значительно покачал головою и попросил пригласить других докторов для консилиума; прежде нежели начался консилиум, Лидия выкинула; доктор объявил ее в самом опасном положении.

Долго тянулась болезнь несчастной жертвы легкомыслия. Зинаида не отходила от ее постели. Иногда больная приподнималась с постели и говорила слабым голосом, вспоминала о назначенных днях городских балов, просила посмотреть свое последнее платье, которое она еще не успела примерить, – и ей расстилали на постели блонды, бархаты, атласы; она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы.

Иногда, показывая на мужа, она говорила Зинаиде:

– Пожалуйста, будь его женою, когда я умру; он такой добрый... ты умеешь лучше угодить ему, нежели я; ты умница, а я бедная, глупенькая!

Но иногда в минуты бреда на Лидию находил припадок ревности. – Что вы на меня смотрите? – говорила она, – вы дожидаетесь, скоро ли я умру. Вы любите друг друга... я это знаю. Только берегись, Зинаида! он ужасно хитр и ужасно зол; он и тебя обманет... У него много бумаг, разных бумаг... он все пишет, пишет...

Слова ее превращались в рыдание или хохот.

Однажды в Казани небольшое общество чиновников сидело за чайным столиком: все люди должностные, давно служащие, что говорится, кореняки; между ими несколько дам, а между дамами и наша Марья Ивановна. Разговор шел дельный: толковали о том, кто как сделал свою карьеру, рассказано было многое в пользу случая, а многое в пользу ума и сметливости.

– Нет! – сказал полковой лекарь, который любил играть ролю балагура и, мимоходом будь сказано, несколько прилакивался за Марьей Ивановной, как она очень тонко дала мне это почувствовать. – Нет, нет, – сказал он, – я узнал недавно шутку, так уж чудо как хитра! На днях, разбирая бумаги покойного брата (у него незадолго перед тем умер брат, уездный стряпчий), я нашел письмо одного человека,

немалозначащего чиновника в Москве, – так уж могу сказать, удивительную вещь придумал! Как вы думаете? У него есть свояченица, сестра его жены, девушка небедная; имение у них еще не разделено, вместе обе части составляют, как видно, богатый кус, и он в него порядочно запустил лапки, но вот зятюшка-то думает и гадает: неравно она, окаянная, выйдет замуж, муж потребует половины имения, а с именинцем-то расстаться жаль. Как тут быть? Как вы думаете, что тут делать?

Все призадумались.

– Купить у нее за бесценок, – сказал старый советник палаты.

– Нет, Флор Игнатьич! – отвечал лекарь, – это все старина; нынче люди поумнее, потоньше стали! Купишь за бесценок – молва будет, репутации повредишь; нынче умный человек разные обороты имеет – на такие хитрости подымается, что век гадай, не отгадаешь. Вот что он выдумал, господа: он подъехал к свояченице с турусами на колесах, свел девку с ума, да и отбивает от нее женихов, а между тем в нераздельном имении то крестьян переведет, то пустошь обменяет, то людей на волю выпустит – вот какой молодец!

Марья Ивановна вздрогнула и, как сама она говорила, ей при рассказе лекаря что-то под сердце подступило: но на эту минуту со всею женскою хитростию она скрыла свое волнение.

Не знаю уж, какие средства Марья Ивановна употребила

для убеждения своего обожателя, но только через несколько дней таинственное письмо очутилось в ее руках и в подлиннике летело в Москву на имя княжны Зинаиды.

Между тем в Москве Лидия с каждым днем ослабевала; доктора называли ее болезнь изнурительною чахоткою и другими латинскими, французскими и немецкими названиями, с утешительным замечанием, что она неизлечима.

Однажды, когда Зинаида вышла в переднюю, чтоб поскорей послать с рецептом в аптеку, незнакомый человек вошел, спрашивая: не здесь ли живет княжна Зинаида Петровна?

– На что вам ее? – спросила княжна.

– Я имею поручение, – отвечал незнакомец, – отдать ей письмо очень важное.

– Пожалуйте мне его, – сказала Зинаида.

– Я должен отдать ей собственноручно.

– Я сама княжна Зинаида.

Она подумала, что это письмо какого-нибудь бедного, и не затруднилась принять его; развернула его, быстро пробежала – едва ноги у нее не подкосились! В другой комнате слышались шаги; она проворно спрятала письмо под косынку; незнакомец между тем удалился.

В тот же день княжна, жалуясь на головную боль, попросила кареты проехаться. Лицо ее было бледно, но спокойно. Городков приписал ее бледность нескольким ночам, проведенным без сна, и советовал ей поберечь себя. Княжна отвечала ему улыбкою. «Я постараюсь, – сказала она, – сохранить

себя для вас». В последнем слове было особое выражение. Городков нежно поцеловал у нее руку. Княжна села в карету и отправилась к одной из своих приятельниц.

– Ты должна оказать мне услугу, – сказала ей княжна, – и услугу важную: вели заложить свою карету и вези меня к предводителю дворянства.

Приятельница княжны не могла прийти в себя от изумления; любопытство ее было сильно встревожено, но она не могла добиться от княжны никакого ответа. Они оставили карету княжны Зинаиды на дворе, а сами поехали, не сказав у подъезда куда. Приехав в дом предводителя, княжна оставила свою приятельницу в гостиной, а сама с неженскою смелостью пошла прямо в кабинет.

– Ваше превосходительство! – сказала она твердым и несколько торжественным голосом. – Вы поставлены от правительства для защиты сирот...

Предводитель, пораженный таким необыкновенным тоном, улыбнулся и сказал:

– Что с вами, княжна? за кого вы так горячо вступаетесь?

– За тех, – отвечала княжна Зинаида, – за которых некому, кроме меня, вступиться. Не смейтесь, Бога ради, и не удивляйтесь тому, что буду говорить! Забудьте, что я девушка! В эту минуту в нескольких шагах от вас совершается преступление, которого никакой закон не может предвидеть, ни наказать, но которое может предупредить твердая воля человека.

Предводитель слушал княжну с возрастающим изумлением.

– То, что я вам скажу, должно остаться между нами: у меня умирает сестра, у ней остается ребенок. Я прошу вас быть у него опекуном.

– Помилуйте, – отвечал предводитель, – у ребенка остается отец!

– Этот человек, – отвечала княжна в сильном волнении, – не заслуживает доверенности ни правительства, ни честных людей.

Предводитель остолбенел; одумавшись, он отвечал:

– Позвольте, однако ж, княжна! ваши слова слишком сильны; но если б я и поверил им, то, по законам, я могу быть только назначен в помощь Владимиру Лукьяновичу, и то если на это будет согласие матери.

– Согласие матери? – сказала княжна с беспокойством. – Вы, как благородный человек, и в этом должны мне помочь; что надобно для этого?

– Надобно, чтоб она назначила меня в духовном завещании в помощь своему мужу.

– Вы должны к ней ехать вместе со мною.

– Помилуйте, вам ближе это сделать.

– Я не могу, она мне не поверит. Прибавлю к этому, что вы должны вместе с духовным отцом говорить с нею и, не забудьте, в отсутствие ее мужа.

– Признайтесь, княжна, что вы ставите меня в самое за-

труднительное положение, заставляете ехать секретно к умирающей женщине для того, чтоб заставить ее сделать то, что может быть неприятно ее мужу, человеку почтенному, уважаемому в целом городе. Нет, воля ваша, княжна, я на это не согласен.

Княжна была в отчаянии.

– Почтенного... уважаемого... – повторяла она, – когда я вам говорю, что он без чести, без совести...

– Но где же доказательства? – сказал наконец, предводитель, вышедши из терпения.

– Доказательства! – воскликнула княжна, – доказательства! у меня есть доказательства, и неоспоримые. Но умоляю вас – дайте мне честное слово, что вы никогда не откроете тайны, которую я вам поверю.

– Даю вам слово честного и благородного человека.

Княжна несколько минут была в недоумении; наконец, скрепив сердце и произнеся про себя: «Господи, еще жертва!...» – сказала: – Читайте, сударь!

Письмо Городкова к покойному казанскому уездному стряпчему:

«М. Г. и почтеннейший товарищ, Фома Иванович! Премного и чувствительно я одолжен вам за исполнение всех моих комиссий: истинно вы показываете свою старую дружбу и приязнь. Ваше благорасположение ко мне осмеливает меня просить вас: во-первых, прочесть

сие письмо поотдаль от всех, ибо я имею сообщить вам нечто весьма секретное, для чего и письмо сие посылаю не по почте, но с верною оказией. Предупреждаю вас, что по ходу дел мне надобно объяснить вам мое положение в подробности, но это дело весьма деликатное; почему я в будущих письмах уже не буду прибегать к объяснениям, кои не всегда могут быть удобны, а уже по этому письму, почтеннейший, понимайте то, о чем впоследствии буду только намекать. Неоднократно я уже относился к вам, почтеннейший товарищ и однокорытник, поспешить окончанием продажи леса при селе Анисовке⁵; вы пишете ко мне, что, несмотря на мое согласие, остановили продажу, потому что считаете цену слишком дешевою и боитесь, чтобы я не переменял мыслей. Я за такой знак приязни вас чувствительно благодарю, но мои обстоятельства не позволяют мне ждать других покупателей; я вынуждаюсь объяснить вам откровенно, с тем, разумеется, чтобы сие сохранилось в величайшей тайне и никому не было поверено. Описание сих обстоятельств убедит вас, почтеннейший друг, сколько необходимо нужно поспешать, ибо случай, как говорили древние писатели, плешив, – тотчас из-под руки выскользнет. Вы знаете, почтеннейший, что у меня, собственно за мною, ни кола ни двора; чтобы поправить мое состояние и сделать себе карьеру, я, как вам неизвестно, долго искал себе невесты; наконец Бог мне послал жену, правда, глупенькую, но

⁵ Общее имение обеих сестер. (Прим. В. Ф. Одоевского.)

небезбедную, как вам также известно. Пока положение мое недурно, я на хорошей дороге, и в связях, и в родстве, и, благодаря Бога, могу не только себе, но и приятелям моим быть полезен. Но, любезнейший друг, вникните хорошенько в мое положение. Вы знаете:

„Все на свете сем не прочно“;

должно помышлять о будущем; умри жена – чего Боже сохрани! – я опять, с позволения сказать, останусь гол как сокол! Правда, есть у нас ребенок, но и ребенок – чего Боже сохрани! – может умереть; да если останется жив, то все я буду ни при чем, а разве при его милости. Это бы еще ничего, да опека, почтеннейший!.. Знаю, что и с нею можно концы с концами свести, но все хлопотно, опасно... хотелось бы иметь свое, отдельное, независимое... понимаете, любезнейший друг! Для сего-то я и желаю, елико возможно, поспешить продажею леса – хотя бы то было за бесценок – лишь бы не пропустить случая, когда дают чистые деньги; а вы знаете: чистоган святое дело! Да к тому же, признательно вам сказать, я не знаю, зачем мне упускать из вида и другую половину имения, когда Бог его так кстати мне посылает, тем более что обе половины вместе – настоящий объект, а врозь уже гораздо теряют свою цену. Тут дело, почтеннейший, повторяю вам за тайну, так сказать, пределикатного свойства. Извольте видеть, ведь свояченица может выйти замуж – понимаете?.. Правда, она ко мне, с позволения сказать, на шею вешается; я, разумеется, как благородный человек, не

стараюсь воспользоваться ее слабостью, но, с другой стороны, смотря на сие обстоятельство с сурьезной точки зрения, нахожу сие весьма сообразным с моими намерениями. А между тем и то приходит в ум, что все-таки ей мужем быть не могу; но, не ровен час, может подвернуться какой-либо смазливенький – тогда, вы сами понимаете, почтеннейший, беда, да и только. Мне необходимо воспользоваться временем, пока в моих руках доверенность от обеих сестер на нераздельное управление общим имением. Во всех отношениях для меня нужно спешить. Все для меня опасно – выйдет ли свояченица замуж, или не выйдет: на грех мастера нет. Мало ли что может случиться!.. Боюсь зазору, молвы людской; вы знаете – я человек благородный, с амбициею; хочу, чтобы под меня нельзя было иголки подпустить; так и дорожу своей репутацией. Все сие пишу к вам, как к другу, и прошу вас покорнейше по прочтении сего письма оное уничтожить, и в ваших письмах ко мне не упоминать о моих обстоятельствах иначе, как весьма аллегорически. Постарайтесь, почтеннейший, тотчас по совершении купчей на лес немедленно доставить мне свидетельство на залог всего имения, о чем я уже к вам писал. Бога ради, поспешайте, елико возможно; денег не жалейте, только бы не замедлили. Прежде взятья свидетельства спросите у Клементья Федорова, хочет ли он выкупиться, или нет; если хочет, то деньги бы выслал ко мне немедленно; иначе я должен буду принять свои меры. Прощайте, почтеннейший! не

замедлите вашим ответом. Извините, что я обременяю вас своими комиссиями; но что делать, почтеннейший! живой о живом и помышляет. Я человек благородный и нравственный: никогда для своей выгоды, даже если бы не имел и дневного пропитания, не в состоянии прибегнуть к непозволенному средству; но, с другой стороны, было бы слишком глупо и не воспользоваться теми видами, кои ныне представляются. Повторяю мою просьбу об уничтожении сего письма. Прекратя все сие, честь имею быть с совершенным почтением и таковой же преданностью ваш истинный друг и слуга

В. Городков».

Пока это письмо было читано предводителем, княжна Зинаида не сводила с него глаз. Она знала письмо наизусть; она следовала за каждым словом; она видела краску, выступившую на лице ей почти незнакомого человека, видела его полуулыбку, когда глаза его дошли до того места, которое относилось к княжне, — она все это видела.

Все, что она перенесла, сколькими годами постарела в эти немногие минуты, — рассказывать не нужно.

Прочитав письмо, предводитель сказал:

— Теперь я на все согласен: располагайте мною как хотите.

В тот же день, в минуту, когда Городкова не было дома, предводитель, духовный отец и двое свидетелей были в комнате Лидии; она подписала завещание, в котором предводитель был назначен душеприказчиком и опекуном в помощь Владимиру Лукьяновичу, а дети сверх того вверялись осо-

бому попечению княжны Зинаиды. Когда все кончилось и все бывшие в комнате умирающей удалились, возвратился Владимир Лукьянович. Предводитель, встретившись с ним в дверях, холодно поклонился и сказал, что он не замедлит к нему отнестись официально как душеприказчик жены его, – Владимир Лукьянович уже знал о вчерашней поездке Зинаиды; теперь загадка для него разгадалась, но только вполовину. Взволнованный, взбешенный, он побежал в комнату Зинаиды, но за дверью остановился и, приняв на себя нежно-печальный вид, вошел тихими шагами.

– Что это значит, княжна? вы и мне не доверяете? – сказал он, устремив на нее свои глаза, которых знал магнетическое действие.

Впервые и, верно, в последние, злобная улыбка появилась на устах княжны. Она посмотрела на своего обожателя с презрением и бросила ему в лицо письмо его к казанскому стряпчему...

Положение Городкова было затруднительно. Благоразумие требовало немедленно бежать в комнату больной, расспросить ее, заменить старое завещание новым, – но уже Лидия была без языка. Несколько мгновений – и ее не стало. Кончина человека поражает невольно самое загрубелое сердце; в эту минуту остающийся в живых смотрит на окружающих, ищет в их глазах убеждения в жизни... Городков встретил лишь холодный, укоряющий взор Зинаиды.

Прошли дни похорон. В доме все вымыто, выметено, накурено; аптекарские стклянки выброшены за окошко, мебель поставлена на место, в стекла светит солнце, на кухне готовят кушанье... Городков ожил; сперва стенания его слышались только за дверь; потом, в рассчитанное с толком время, двери для приезжающих утешителей отворились. Владимир Лукьянович плакал и вздыхал уже официально; мимоходом он принимал на себя вид оскорбленной невинности и легкими намеками наводил черную краску на княжну Зинаиду. Между тем к ней был послан управитель с низким поклоном и извещением, что барин хочет переселиться в занимаемые ею комнаты, потому что, дескать, ему очень тяжело оставаться в тех, где находилась покойная Лидия Петровна.

Зинаида оставила дом, переехала к одной приятельнице — у княжны не было ни копейки денег.

Мало-помалу приезжающим утешителям было растолковано, что княжна Зинаида в последнее время оказалась очень дурной характер; что она старалась овладеть больною сестрою и выманить у покойницы разные щедроты в изъяз мужу и детям; что даже при ее заносчивом характере опасно было оставлять ее при ребенке, и прочее тому подобное. Эти краски очень хорошо ложились на приготовленную растушевку.

Наступило время чтения завещаний. Их было два: первое предоставляло Городкову неограниченное право располагать детьми и имением, второе — то, о котором я говорил

выше. Оно одно, как последнее, имело законную силу.

Городков, выслушав все, хладнокровно сказал:

– Я весьма радуюсь, что имею в почтенном Иване Гавриловиче (имя предводителя) столь достойного помощника; но долгом считаю объявить, что покойница состояла мне должною на такую сумму, которая превосходит цену имения. Если бы мне, отцу (это сказано было сквозь слезы), было оказано больше доверенности и не было никакого постороннего вмешательства, я бы изорвал заемные письма: на что мне они? разве я не отец моему ребенку? Но теперь я считаю себя в обязанности предъявить их, дабы иметь право предохранять от постороннего управления достояние моего ребенка.

Все эти слова были произнесены тоном достойным, благородным и трогательным. Они произвели видимое действие на всех слушателей: многие из них плакали, другие с негодованием говорили об интриганке Зинаиде.

Одна она не потеряла головы.

– Неправда! – сказала она, когда предводитель почти упрекал ее, что она посвятила его в дураки, – неправда! сестра не могла быть ему должною – ему нечего ей дать; я буду доказывать пред судом безденежность заемных писем.

– Как, княжна! вам, девушке, входить в процесс с мужем вашей сестры?

– Так вы подайте просьбу...

– Это легко сказать: какие доказательства могу я представить в безденежности этих заемных писем? Знаете ли, к че-

му ведет это? Ведь Городкова надобно будет обвинить в бесчестном поведении...

– А вы еще сомневаетесь в этом, после письма его?..

– Да, письмо! разве письмо бы годилось. Но подумайте о себе: оно компрометирует вас...

– Что нужды! – отвечала она, но потом, одумавшись, спросила с трепетом: – Это письмо необходимо?

– Необходимо.

– Оно – у Городкова!

У опекуна опустились руки. Он решительно отказался от всякого процесса. Княжна была в отчаянии, но не теряла духа. Без денег, без друзей, поражаемая светской болтовней, негодованием честных, но обманутых людей, она начала процесс о безденежности заемных писем, данных ее сестрою. К такому действию ее еще более понуждала открытая ею связь Городкова с одною безнравственною женщиною, которая, перехитрив и самого Владимира Лукьяновича, вытягивала из него деньги и, наверное, должна была обвенчать его на себе. Необходимость иметь капитал для такого процесса заставила княжну завести другой – о разделе имения, а к этому процессу третий – о разорении, сделанном Городковым в имении. И во всех гостиных, в присутственных местах толковали, смеялись, порицали девушку, которая забыла стыд, обложила себя указами, окружила себя стряпчими, приказными; болтливость и клевета прибавляли к сему тысячи оскорбительных небылиц, которые имели вид истины.

Посреди самого разгара этого дела в Москву возвратился из Парижа дядя обеих сестер, князь З... Княжна бросилась к нему, как к своему избавителю; она рассказала ему всю историю – рассказала с жаром, с чувством, с силою. Старый князь, чопорный, чинный, в коричневом фраке с иностранною звездою, сначала ничего не понимал; но жар, с которым говорила его племянница, как-то подействовал на его благоприличную душу: он сам ни с того ни с сего разгорячился и начал приговаривать:

– Comment donc! nous lui ferons rendre, gorge mordicus!⁶

Один мой приятель сделал очень глубокомысленное замечание, а именно: что есть люди, которые очень умны, когда говорят по-французски, и делаются невыразимо пошлы и глупы, как скоро заговорят по-русски. Это довольно странно, но справедливо и понятно. Мы учимся не языку, но только заучиваем тысячи фраз, сказанных на этом языке умными людьми; говорить хорошо по-французски – значит повторять эти тысячи готовых фраз; эти фразы и мешают мыслям и избавляют от своих собственных; вы слушаете, чужой ум выглядывает из болтовни, обманывает вас: кажется – дело, переведите по-русски – пустошь, ни к селу ни к городу. Князь принадлежал к числу таких людей. Едва ввалился он в гостиные, как посыпались к нему со всех сторон нарекания на Зинаиду; добрый князь обомлел. Едва заговорил он по-русски с деловыми людьми, как и совсем потерялся: в голове

⁶ И как еще! мы у него все вырвем обратно, чорт побери! (*франц.*).

его осталось только одно, что племянница его играет самую смешную, самую неприличную роль – un role ridicule et peu convenable!⁷

Князь счел долгом принять на себя достойный вид старшего родственника и, положив одну ногу на другую, преподать княжне нужные, спасительные советы самым чистым парижским наречием, с заветными поговорками и с особенною интонацією, которая так несносно скучна в разговоре и природных французов.

Хотя он с княжною говорил и по-французски, следственно очень умно, но не убедил ее; она продолжала начатое, и в гостиных явился ее новый гонитель – ее собственный дядя: он пожимал плечами, поутру уверял встречного и поперечного, что он в этом деле умывает руки, а вечером, вздыхая, ездил смотреть французские водевили.

Однажды к княжне Зинаиде явился ее стряпчий.

– Ваше сиятельство, – сказал он, – вам остается теперь одно: очистительная присяга, – и я долгом считаю вас уведомить, что ваш соперник, говоря, что для детей отец должен на все решиться, не прочь от такой присяги.

– Что такое очистительная присяга?

– Вы должны будете идти с большою церемонией в церковь и публично присягать в истине вашего показания касательно безденежности заемных писем...

Княжна окаменела при таком известии. Это было слыш-

⁷ Роль смешная и неприличная! (франц.)

ком!

Но твердость ее не оставила; она готова была принести и эту жертву любимому ей ребенку, но ее спасло одно из тех нечаянных происшествий, которые неправдоподобны, но очень просто разрешают, по воле провидения, самые трудные задачи. Городкова разбили лошади – и он умер. При последнем издыхании он не хотел или не успел испросить прощения Зинаиды.

Смерть Городкова возвратила все права несчастной девушке над ее племянницей. Она взяла ее к себе, не выходит замуж и все минуты жизни посвящает на ее воспитание: а в гостиных толкуют, что она, расстроив свое семейство, теперь надела маску и играет роль нежной родственницы, чтобы прикрыть старые грехи и между тем воспользоваться именем племянницы.

– Вот что я узнал, – продолжал мой приятель, – от Марьи Ивановны. Разумеется, она рассказывала все это короче, нежели как я тебе сказываю. Но ты человек аккуратный – тебе надобно было знать все подробности. Этот рассказ возбудил во мне сильное любопытство познакомиться с столь необыкновенною женщиною, которая в малом семейном круге умела показать более благородства и твердости души, нежели многие мужчины на поприщах более возвышенных.

У графини Дарфельд бывали по вторникам маскарады. В тогдaшнюю зиму на маскарады была мода; все рядились, ми-

стифировали друг друга, танцевали и волочились без ума; под снега севера перенеслись все обольстительные прелести старинных итальянских маскарадов.

Однажды я с любопытством осматривал пестрый мир, вертевшийся вокруг меня, и почти с досадой отгрызался от масок, которые не давали мне покоя. «Княжна Зизи здесь», – сказал кто-то за мною. «Где? где?» – спросил другой. «Вот сидит в зеленом домино; моя племянница с нею».

Этого разговора с меня было довольно; я отправился к зеленому домино... В жизни я не видывал такой стройной талии, таких прекрасных ножек, которые, ты знаешь, в женщине для меня – почти все; из-под капюшона были видны знакомые мне черные, мелкие кудри, а в отверстиях маски горели живые, блестящие глаза.

– Позвольте мне вас мистифицировать, – сказал я, – хотя я и без маски.

Я сел подле княжны и ни с того ни с сего принялся рассказывать ей всю ее историю со всеми подробностями. Княжна была встревожена моим рассказом; но участие в ней, уважение к ее подвигу, которым дышало каждое мое слово, ее тронуло. Когда я окончил, она мне сказала.

– Благодарю вас; вы мне доставили первое наслаждение в жизни: видеть, что клевета не совсем могла очернить меня и что есть люди, убежденные в чистоте моего сердца.

На следующий вторник мы встретились уже как знакомые. Разговор княжны был жив, умен и занимателен, я не заме-

чал, как проходили часы и как посматривали на нас любопытные.

На третий вторник я счел уже нужным также нарядиться в домино, чтобы спокойнее говорить с княжною...

Что тебе рассказывать! Через несколько времени быть с княжною сделалось для меня необходимостью; тщетно я искал ее в гостиных: она выезжала только в маскарады – без домино она боялась показываться в свете и сначала лишь под маскою хотела к нему привыкнуть.

Однажды, после долгого вечера, который я считаю одним из счастливейших в моей жизни, сходя с подъезда, я сказал ей:

– Княжна! мне тяжело видеть вас только один раз в неделю; позвольте мне быть у вас.

Она задумалась, и потом отвечала:

– Это невозможно!

– Почему же?

– Я живу почти одна. Вы знаете Москву и знаете, что заговорят, если вы будете ко мне ездить.

Эти слова заставили меня в мою очередь задуматься.

– Послушайте, – сказал я, – не сочтите меня ветреным, легкомысленным. Что вам до толков? Неужли нет средства посмеяться над клеветниками?

– Как же? – спросила она почти с насмешкою.

Эта насмешка рассердила меня. Я говорил, говорил – и сам не знаю, как сказал ей, что я влюблен в нее до безумия,

и предложил ей свою руку.

Княжна вздохнула.

– И я люблю вас, молодой человек – отвечала она, – но вы знаете, что о таком деле надобно подумать...

Тут закричали карету с условленным именем; княжна поспешно меня оставила, говоря:

– До будущего вторника! ко мне пока я вам ездить запрещаю...

В эту ночь я прошел все степени любовного безумия: я и писал несколько писем, и бросался в кресла, и закрывал себе лицо руками, и бродил из угла в угол – и... как все это у вас описывается?

К утру не стало мне больше сил. Я бросился в карету и велел ехать к княжне Зинаиде; она заставила меня довольно долго ждать у подъезда, но наконец меня приняли. Я взбежал на лестницу как угорелый, и первый предмет, который бросился в глаза в гостиной, была княжна – и в своем домино.

– Вы не исполнили моей просьбы, – сказала она, – что делать! Но за то я хочу наказать вас, вы будете говорить со мною, но не увидите меня...

Я бросился к ней и стал умолять, чтобы она сняла маску; чего уже тут я наговорил, не помню, потому что был в совершенном бреде.

– Сядемте, – сказала она мне, – и поговорим; дело серьезное... Вы любите меня, молодой человек; я вам верю, верю чистой, юной, прекрасной душе вашей; когда смотрю на вас,

мне приходит на мысль, что я бы могла еще быть счастливою в жизни... да, сударь, я к вам почти равнодушна... вы воскресили для меня старые, забытые чувства... как бы я желала продолжить эту минуту...

Я был вне себя, целовал ее руку, дыхание мое захватывало.

– Пойдите! – сказала княжна, – в этом деле есть препятствие, и очень важное...

– Препятствие! – сказал я, – какое? Вы свободны.

– Препятствие небольшое, но важное, – повторила княжна со смехом, срывая с себя маску, – мне сорок, а вам едва ли восемнадцать! Моя племянница вам ровесница и уже замужем! Жаль мне разрушить свое и ваше очарование, но – вы опоздали, и я также; мне не суждено этого рода счастья в жизни, вы – найдете другое.

– Что тебе рассказывать далее! – продолжал мой приятель. – Я было принялся выдумывать пошлые фразы о том, что я молод на лицо, что неравенство лет не мешает счастью, и прочее тому подобное; но мои слова как-то не вязались, а княжна грустно насмешливо забавлялась моим смущением... На другой день я уехал из Москвы – а теперь мне пора ехать за акциями.

Он взял шляпу.

– Пойди! постой! – кричал я ему вослед. – Как же ты не догадался о летах княжны по письмам?

– Разве я тебе не сказал, что получил их после всей этой

истории? – отвечал мой приятель.

Комментарии

1.

...историю о странствиях аббата Лапорта... – Лапорт Франсис (1812–1880) – французский естествоиспытатель. Изучал фауну и собрал обширные коллекции в Америке, Азии и Австралии.

2.

Сильвио Пеллико (1788–1854) – итальянский поэт и политический деятель; преследовался за близость к революционным повстанцам.